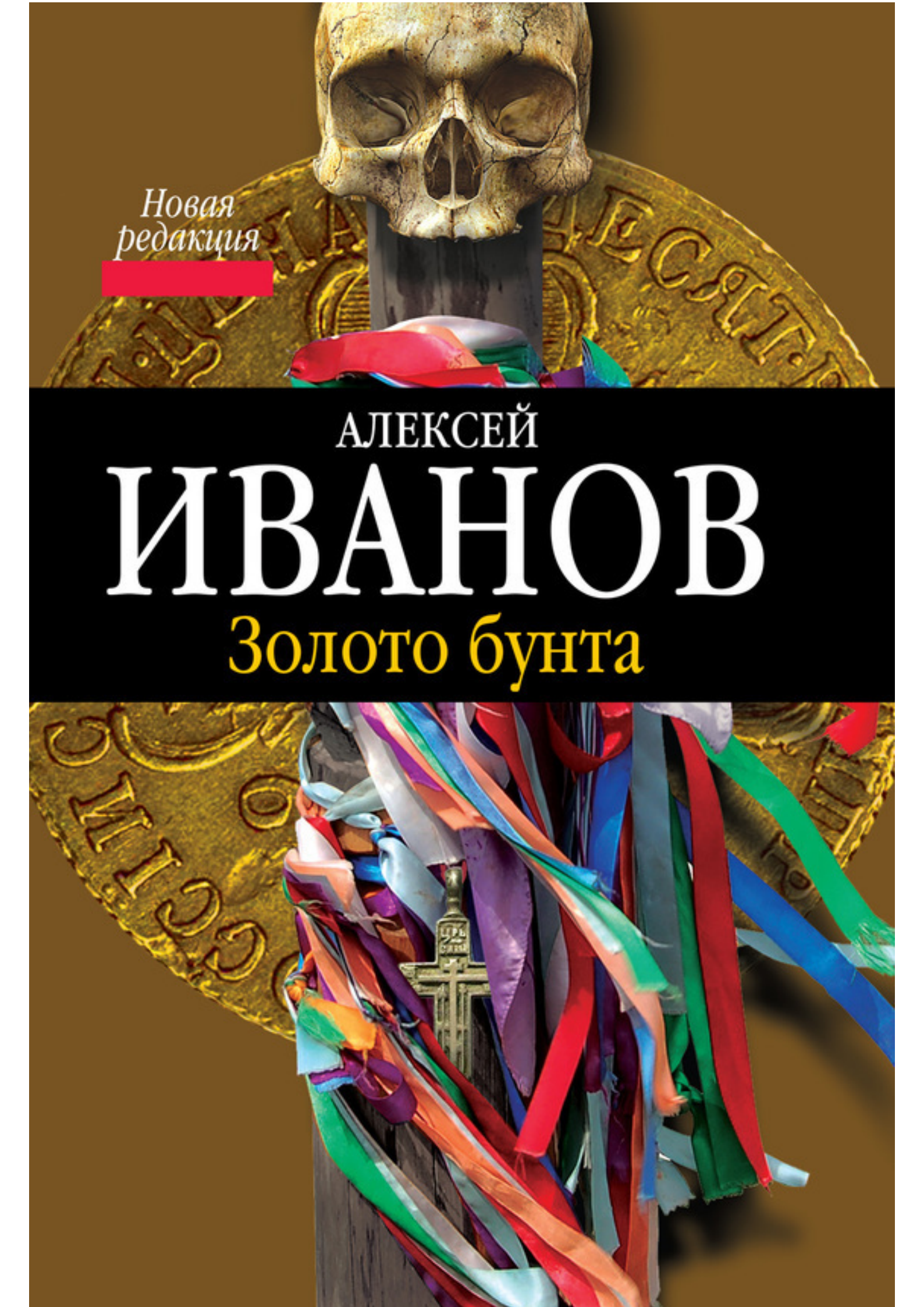




Новая
редакция

АЛЕКСЕЙ
ИВАНОВ
Золото бунта

Алексей Иванов

Золото бунта

«АСТ»

2005

Иванов А. В.

Золото бунта / А. В. Иванов — «АСТ», 2005

ISBN 978-5-17-078752-4

<p id="__GoBack">«1778 год. Урал дымит горными заводами, для которых существует только одна дорога в Россию – бурная река Чусовая. Но здесь барки с заводским железом безжалостно крушат береговые скалы-бойцы. У сплавщиков, которые проводят барки по стремнинам реки, есть способ избежать крушений: попросить о помощи старцев, что правят Рекой из тайных раскольничьих скитов и держат в кулаке грандиозный сплав “железных караванов”. Однако молодой сплавщик Осташа, пытаясь разгадать причины гибели своего отца, поднимает бунт против сложившегося на Чусовой порядка. Чтобы вернуть честное имя себе и отцу, он должен будет найти казну самого Пугачева, спрятанную где-то на бойцах...А подлинное “золото бунта” – это не пугачёвский клад, но ответ на вопрос: как сделать непосильное дело и не потерять душу?» (Алексей Иванов)

ISBN 978-5-17-078752-4

© Иванов А. В., 2005

© АСТ, 2005

Содержание

Часть первая	6
ОТЦОВА БАРКА	6
ПЫТАРЬ БАКИР	11
СЧАСТЬЕ ВЫШЕ БОГАТЫРСТВА	16
В УСТЬ-КОЙВЕ	20
КОЛЫВАН	27
ЛЮДИ ЛЕСА	33
ЖЛУДОВКА	39
ПСЫ	45
ФЛЕГОНТ	50
КОНОН	58
МЕЖЕУМОК	63
ЗА КАМНЕМ ЧЕГЕН	69
Часть вторая	75
БОЕЦ САРАФАННЫЙ	75
НА ВЕСЁЛЫЕ ГОРЫ	80
ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ	83
ОТЧИТКА	89
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Алексей Иванов

Золото бунта

© Иванов А.В.

© ООО «Издательство АСТ»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Пётр сказал Ему в ответ: «Господи! если это

Ты, повели мне прийти к Тебе по воде».

Он же сказал: «Иди».

Матфей 14:28–29

Часть первая Купли житейские

ОТЦОВА БАРКА

Караванный вал давно уже скатился вниз, отгрохотав на переборах, а перед бойцом Разбойником всё ещё бушевало половодье. Река здесь вздулась блестящим бугром, и угрюмую скалу оторочило воротником белой пены. Пена вываливалась из-за гребня Разбойника и длинной полосой текла дальше по гладкому и быстрому плёсу, потихоньку истаивая. Так после бури на ещё сквозящем ветру бьётся и полощется, зацепившись за еловую лапу, сорванная девичья косынка.

Был день Лукерьи-комарницы. Стоя на корме лёгкого шитика с веслом в руках, Осташа вместе с рекой заходил в поворот. Из-за высоких лесов медленно вылезала серая громада Разбойника. Казалось, он перегородил Чусовую от берега до берега. Он всё рос, подымался, глыбился, будто медведь, что выбрался из берлоги и расправляет плечи, лапы, хребет. Солнце полудня столбом света спускалось с неба, пробивая воду до дна. Осташа видел, как его лодка проплывает над зелёными, мохнатыми, окатанными валунами... А в тот день три года назад был промозглый холод, встречный ветер резал глаза, тучи перехлёстывали блёклую синеву над головой...

Батя удержал бы барку на Рубце – так сплавщики называли стрёжневую струю от ребра бойца Молокова, – да Спиридон Кобылин, нагнавший сзади, своей баркой просто срубил потёси по левому борту батиной барки. И батя свалился с Рубца одеснёю, как щепка слетает с обода бешено вертящегося колеса. Бурлаки бросились вытаскивать новые потеси, которые лежали на кочетках на кровле коня. Остаться перед Разбойником без потесей – вернее гибели и не придумать. Это и Осташа понимал. Он стоял на скамейке рядом с отцом как ученик сплавщика.

Осташа вцепился в перильца обеими руками. Барка, теряя ход в западине поворота, прямоком шла носом в берег почти под камнем Кликуном. Казалось, что и Кликун вытянул шею и вздёнул свою глупую башку, чтобы потарашиться, как батина барка отуётся, а затем её всем бортом хряснет о скалу и потопит в пене. Осташа хотел заорать, глядя то на отца, то на берег, то на каменную тушу Разбойника, обляпанную бурными лишаями. Но лицо бати тогда было твёрдым и белым, а ветер трепал волосы, обвязанные по лбу тесёмкой, и кудлатил бороду – словно стелил длинную траву вокруг валуна. Батя вжал в усы раструб жестяной трубы и крикнул бурлакам:

– Потеси не спускать!..

– Загубишь, сплавщик!.. – прохрипел старый бурлак Гурьяна Утюгов, ходивший с батей на сплав уже десяток лет. Гурьяна батя не поверил. И Осташа не поверил, не понял: почему нельзя и дёрнуться, чтобы отгрести от берега и от скалы?..

Барка врезалась тупым носом в берег, круша подлесок. От удара бурлаки полетели на доски настила, кто-то с воплем кувыркнулся за борт. Осташу с батей едва не скинуло со скамейки. Сосны гибко качнулись над головами через всё небо, как волосы над лицом утопленника. А потом течение приподняло барку и потащило дальше, к Разбойнику, разворачивая задом наперёд. Бурлаки вставали на колени и крестились, глядя, как впереди вырастает тусклая, урчащая гора воды. Над ней из пенных кипунов поднимался страшный боец. «Может, ещё гребануть пару раз – авось бы и протиснулись вдоль камня?..» – в отчаянии подумал Осташа.

И любой бы сплавщик так решил, любой. Не отказываются от последней, хоть и бесполезной попытки спастись; в водовороте не отцепляются и от соломинки. А батя о гибели не думал.

– Не грести! Не грести, бога ради! – кричал он в трубу, повиснув подмышкой на периле. Но никто уже и не тянулся к потесам. Барка, медленно разворачиваясь, теперь всем левым бортом неслась прямо на Разбойника. Её стало кренить, поднимая на водяную гору перед стеной. И вдруг с этой горы, как сани со склона, огромная барка скользнула вперёд и вниз. Пенная туча хлынула на палубу, сугробами заваливая вопящих бурлаков. А из мокрого тумана вознёсся мятый каменный парус, тенью мелькнул над баркой на расстоянии вытянутой руки и улетел назад, словно отброшенный ураганом.

Кормой вниз по течению, барка впритирку проскочила вдоль Разбойника с той излучины, на какой гибли все и всегда. Батя успел понять, как надо поставить барку, чтобы струя сама пронесла её мимо, а боец лишь снял стружку с просмоленного борта.

– Поклон тебе, Переход, от народа... – цепляясь за рога ворота, в журчащей тишине сказал Гурьяна. Батя сидел на краю скамейки и молчал, сплёвывая кровь. Губы его были разорваны жёстью трубы. Рокот воды у Разбойника делался всё тише и тише.

Батя придумал, как пройти прямо под бойцом, как вывернуться из лап гибели. Никто до него такого не совершал. Да никто бы и не смог повторить его путь, потому что батя никому, кроме Осташи, не указал места на берегу, куда надо ударить носом барки, чтобы барка отурилась и прошла невредимой. Цепким взглядом сплавщика батя успел отметить это место: под сосной, что похожа на суксунский светёц. Это был секрет бати – и Осташи... А теперь одного Осташи, потому что нынешней весной батя попробовал вновь пройти Разбойник оту́ром.

На дне шитика у Осташи лежал мешок с припасами и кое-каким снарядам; вдоль борта – шест с окованным наконечником и длинный рогожный свёрток, под который Осташа заботливо подстелил лапника. В носу лодки, распяленный прутиками, чтобы не упал, стоял раскрытым зелёный медный складень с Николой Морским – покровителем мореплавателей. Чусовая, конечно, не море, но ведь надо же было иметь заступника.

Осташа несколькими точными и сильными гребками отвёл лодку с той струи, что ударила бы его прямо в скалу. Проплывая под Разбойником, он задрал голову, придерживая шапку на затылке. Над бугристым и морщинистым каменным рылом, над плешивым теменем висело и слепило солнце, словно нимб. Облезлые клочья лишайников испятнали скалу, будто забрызгали кровью. Чего ж: безвинной кровушкой Разбойник трижды умылся с головы до пят.

Отвернувшись от Разбойника, Осташа увидел вдали под светлыми глыбами Четырёх Братьев отцову барку, лежащую на дне. Палуба её поднималась над водой на аршин, не больше. Светлела тёмом двускатная кровля над льём. Косо торчала мачта-щегля. Осташа пригляделся. Какие-то люди ползали по крылу кровли, как мухи по пирогу.

«Ну, это кумышские, – сразу понял Осташа. – Воровской народ... Такие захотят на дуде поиграть – из живого тела ребро вынут».

Он отложил весло, сел на дно лодки, разматал берестяные ленты лаптей и разулся. Потом обтёр ноги тряпкой, накрутил онучи, вытащил из мешка сапоги и напялил; за голенище сунул нож. Снова поднявшись во весь рост, Осташа не стал подгребать, а медленно, вместе с течением, приближался к барке. Издалека походило, что это не барка затонула, а никонианская церковь.

Осташа оглядывал быстроток, а сам всё думал о бате: представлял, как батя здесь проходил. Вот он стукнулся в берег под Кликуном; барку отурило, понесло бортом на Разбойник; вот она полезла на водяной вал... И вдруг, вместо того чтобы плавно скользнуть вдоль скалы, она врезалась левым кормовым плечом в камень. Лопнули, будто пальнуло из пушки, перебитые пополам чёрные от смолы доски пёрубня на огибке и растопоршились в разные стороны. Волна комом упала в пробоину. В утробе барки загрохотали чугунные чушки, скатываясь с места. Барку проволокло боком по скале и выбросило дальше на быстроток, разворачивая обратно

носом вперёд. И барка всё грузла, заливаясь водой, осаживалась в волну, неповоротливая уже, как мёртвая. Да она и была мёртвая – убилась о Разбойник. Её несло прямо на Четырёх Братьев. Будь она жива, её всё равно раздробило бы в щепу. Но она не доплыла, затонула и легла на дно рядом с устьем Четырёхручного ручья. Люди, видно, цеплялись за пыжи и огнива, за кровлю, за стойки коня – потому их и не смыло. Уцелели все – и бурлаки, и подгубщики, и водолив. Лишь колодник захлебнулся в казёнке под палубой, да батя, сплавщик, сгинул неизвестно где. Никто не видел, куда он делся со скамейки. И тела его до сих пор не нашли.

Осташа был в отца – сплавщик по крови. Он не сожалел, что батя попробовал пройти мимо Разбойника своим опасным способом. Осташа и сам поступил бы так же. Благо, барка собственная. Рисковать чужой баркой честный сплавщик не стал бы. Но сердце грызли боль и досада. Неужели батя был неправ и пройти Разбойник таким путём невозможно? Нет, нет, нет! Батя всё рассчитал, всё учёл, всё промерил. Он шёл в двадцатый весенний сплав. За двадцать лет он не убил ни единой барки. «Удача-Переход» – звали батю и сплавщики, и бурлаки. Но Осташа знал, что не было в батиней удаче никакой удачи – только знание, верный глаз, навык, твёрдая рука и крепкая воля. На Чусовой удач не бывает. Но почему же батина барка разбилась? Батя должен был пройти. Должен. И не прошёл.

Кумышских мужиков на барке было четверо. Они уже сняли с кровли конёк и теперь топорами подцепляли доски. Выдернутые гвозди заботливо складывали в короб. Связка длинных тесин, перетянутая верёвкой и готовая к перевозке, покачивалась в воде у борта. Мужики спокойно и деловито разбирали барку, словно у неё вовсе и не было хозяина.

– Кончай грабёж! – крикнул Осташа, причаливая лодку к пыжу и накидывая петлю на обугленный столбик огнива.

Он выложил на палубу барки длинный рогожный свёрток и сам с веслом в руке запрыгнул наверх.

Мужики, сидевшие на коньке, как воробы на заборе, опустили топоры. Один даже вогнал топор в доску и слез к Остахе, остановился напротив и вытер потные ладони о рубаху на брюхе, нагло улыбаясь в глаза.

– А ты что за хрен посреди деревни? – спросил он.

– Я сын Перехода, и барка моя.

– Нам Колыван сказал, что сгибли Переходы, и барка ничья.

– Колыван Бугрин, что ли? – Осташа не отводил взгляда. – А он откуда знает? На потеси здесь стоял?

– Может, и не стоял, а нету больше Переходов. Кончились. – Мужик хмыкнул.

Осташа почувствовал, как душа его словно цепенеет. Он не боялся своей злобы, потому что гнев будто стягивал его грудь обручами, и зубы стискивались, глаза делались зорче, а все движения становились точными и короткими. Он не зевал замаха врага, чтобы со свороченной скулой покатиться по траве. В Кашке с ним и заречные давно перестали связываться. Осташа переложил весло в левую руку и сильно толкнул мужика в широкую грудь.

– Ослеп? Переход перед тобой!

Мужик отодвинулся, и глаза его вдруг сделались масляные.

– А на что тебе эта барка? – спросил он. – Битая, несчастливая. Тебе тятка денег принесёт, десять новых барок себе купите.

– Каких денег? – не понял Осташа.

– Ну, каких?... Пугача денег.

– Каких денег Пугача?! – заорал Осташа.

Глаза кумышского остекленели, а улыбка исчезла, будто он её сплюнул.

– А почто твой тятка барку разбил, а, щенок? – спокойно спросил он. – Думал, все его за мертвяка посчитают, а он клад Пугача выкопает и заживёт от пуза где-нибудь на Руси. Все ведь знают, что он один видел, куда Чика клад зарыл.

Осташа молча перехватил весло обеими руками и с короткого замаха ударил кумышского по скуле. Того отбросило на ребро кровли, но он не упал, удержавшись за край.

– Мужики, руби его, никто не дознается! – хрипло крикнул он.

Осташа бросил весло, отбежал назад и поднял свой рогожный свёрток. Стряхнув рогожу, он наставил на мужиков унтер-офицерский штуцер, переводя гранёный ствол с одного на другого.

– Первого завалю, остальных – как получится, – предупредил Осташа. – Со мной и нож есть. Мясо резать умею.

Мужики, что уже поползли было по ребру кровли к Остахе, замерли. После Пугача на Чусовой ружьями и топорами не грозили просто так – сразу пускали в ход. Даже в драках за девок били насмерть и топтали ногами, и никто не вступался разнять – самого кончат. Народ с узды сорвался, кровь была – как вода. «Пугач закон отрешил», – говорили по каплям учителя.

– Отчаянный, оторва, – садясь и утирая кровь со скулы, сказал мужик, которого Осташа ударил. – При Пугаче-то, вроде, ещё без штанов бегал...

– Пошли прочь отсюда, – спокойно сказал Осташа. – Моя барка.

Мужики угрюмо, с опаской слезли с кровли, подняли своего жоака и потащили к доске-сходне, что была перекинута с борта на близкий берег. Осташа дулом проводил их до тальника, а потом опустил штуцер.

Через некоторое время из кустов прямо от выступа скалы выползла и легла на воду лодка-насада. Кумышские забрались в неё; двое сели, а двое, стоя, оттолкнулись от берега и погнали насаду вверх по течению, тюкая о камни на дне окованными концами шестов.

– И Колывану Бугрину передайте, чтоб в голбце посидел, пока я домой не вернусь! – крикнул им вслед Осташа.

– На сплаве сочтёмся!.. – издали ответили ему. – Со дна у Чусовой тебя тятка ни за какие сокровища Пугача не выкупит!..

В горле у Остахи скребло, будто он песка нажрался. Осташа сбросил шапку, подошёл к краю палубы, положил тяжёлый штуцер, лёг сам, дотянулся ладонью до воды, умыл окостеневшее лицо, напился. В затылок пекло солнце. Вот, значит, как теперь говорят об отце... Нужно ли тогда ему было быть честным, когда на сплаве половина сплавщиков продавалась, а другая половина – покупала? Мёртвые, конечно, сраму не имеют – да и не было на бате позора. Наговор один, поклёп. Не червивело батю коварство. Батя погиб, это понятно. Но кому чего докажешь, если не бить в зубы, кровью затыкая поганую пасть?

Осташа завернул штуцер обратно в рогожу. После бунта на Чусовой много разного оружия осталось. В любом доме имелось. Вот и батя купил хорошее ружьё. «Почто купил? – сам себе удивлялся тогда батя. – В дому у нас брать нечего... Вор придёт – так я шмыг под печь, меня оттуда и кочергой не выковырять. Ты, Остафий, и без ружья любому глаз выбьешь. А если Макаровну украдут, так вечером же сами и обратно принесут, да ещё нам два пуда хлеба подарят, чтобы мы её за ворота не выпускали...» Батя обмотал штуцер дерюгой и берестой и закопал в голбце. Батя всё равно бы не стал стрелять в человека, хотя после Пугача в такое и не верилось. А Осташа стрельнул бы, рука бы не дрогнула. И когда батин подгубщик Гурьяна Утюгов принёс весть о крушении отцовской барки, Осташа выкопал штуцер и взял его с собой в дорогу.

Река уже посинела. На ярко освещённых камнях дальнего берега раскричались птицы. Солнце укололось доньшком о верхушки сосен на хребте Четырёх Братьев и покраснело, словно от боли. Из тесного, сумеречного распада толчками выбивался бурный по весне Четырёхрешный ручей. Он волочил ветки, сучья, кору, оторванные куски дернины, гневливо швырял всё это в Чусовую – так вздорная баба, подметая в избе, выбрасывает мусор с крыльца под ноги пришедшему гостю.

Осташа забрался в шитик и оплыл барку кругом. Пролом был только один – на левом кормовом плече, которым барка ударилась в скалу. Трещина рассекла борт сверху донизу. В этой чёрной щели торчала заплывшая ветка, будто шерстинка между зубов у волка. Доски обшивки лопнули, но кокóра, похоже, была цела. Огниво от удара растрескалось вдоль слóев. Палубный настил задрало и расшепéрило. А в общем, барку можно было починить. В мéжень, к Прокопьеву дню, вода ещё упадёт, обнажив пролом наполовину. Днище барки всё равно лежит на камнях неплотно. В просветы можно просунуть чегéни и на распорах рычагами приподнять гузно барки, полностью выведя пролом из реки. Потом сменить огниво, прибить дощатую заплату, вколотить обратно тесины палубы и засмолить всё. Потом отчерпать воду из барки, и барка всплывёт. Заплата всё ж таки на корме, и на ходовые свойства она особо не повлияет. Да ниже устья Койвы сплавщику и бояться-то нечего, разве что Гребешок – боец опасный. А Вашкúрский перебор, Камáсинские мели, протоки Дикого острова за деревней Кóпально – это другое дело, не смертельное.

Но Осташа решил осмотреть барку ещё и внутри. Не хотелось лезть в ледяную воду, да не положено было сплавщику оценивать барку на глазок. На палубе барки Осташа разделся догола, взял весло на всякий случай и прыгнул под кровлю на дно барки, в льяло. Воды оказалось по грудь. Внутри барки полумрак был насечён на ломти полосами света из прорех, где кумышские воры уже сняли доски. В огромном, гулком, пустом коробе барки глухо шлéпали о деревянные борта волны, поднятые Осташиними движениями.

...Гурьян рассказал Осташе, как было дело. Бурлаки выбрались после крушения на берег, отогрелись у костра; потом пошарили по прибрежным кустам вниз на пару вёрст, отыскивая тело Перехода, но не нашли ничего; потом поразмыслили и двинули в Кын-завод. Батя вёл барку из строгановского завода Билимбáй, поэтому в строгановском Кыну́ им должны были помочь. Тридцать с лишним вёрст до Кына шли голодняком два дня; переползали через скалы, перебирались через притоки. В Осянской пристани на пароме перекинулись на левый берег, перевалили гору Мултыка́.

Строгановского сплавного приказчика Кузьму Егорыча бурлаки застали в Кыну. Кузьма Егорыч распорядился дать им два межеумка, что были заготовлены на летнюю путину для межени, и сказал: коли бурлаки хотят за сплав свои деньги получить, пусть плывут обратно, перегружают чугун на межеумки и везут его на Лёвшину пристань, как и должно было. Бурлаки, понятно, согласились; уплыли, разгрузили затонувшую барку и на межеумках побежали дальше, в Каму. Всё страшное для них было уже позади: Горча́к, Мб́локов, Разбойник, Четыре Брата пройдены, а мимо Отмётыша бог проведёт. Только Гурьяна совсем простыл и остался в Кыну. А поправился – и побрёл берегом Чусовой в Кашку, понёс Осташе чёрную весть.

Ступая на уже осклизлые плахи подмёта, стараясь не запнуться о кёрень, хватаясь руками за брусья озд над головой, Осташа внимательно осмотрел барку изнутри. Из пролома живот обдало холодом свежей воды. Кроме самого пролома, имелась только одна дыра по левому борту за бара́ном, почти у днища. Здесь выскочила доска-бока́рь, заменить которую было раз плюнуть. Нет, барку рано было разбирать на лес. Можно ещё поднять, можно.

Напоследок Осташа заглянул в казёнку – дощатую каморку под палубой. Залезали в казёнку из мурый. Маленький лаз под потолком был очень неудобен, когда в барке нет груза. Бурлаки прорубили здесь стенку, чтобы достать утопленника. Осташа протиснулся в казёнку и огляделся. Тесная конура была бы совсем тёмной, если б не два оконца-про́духа в потолке, перекрёщённые скобами, чтобы в них не проваливались ноги бурлаков. Осташа набрал в грудь воздуха и присел совсем под воду, разглядел в мути и сумраке толстое железное кольцо, намертво ввинченное в брус. К этому кольцу и был прикован колóдник. Барка затонула, и он тоже захлебнулся в своей темнице. Ну и смерть... Осташа вынырнул, отплевался и полез обратно на палубу.

Теперь ему всё было ясно. Барку смело можно было продать.

ПЫТАРЬ БАКИР

Полянка на высоком берегу над Четырёхшным ручьём казалась какой-то домашней. Здесь всегда разбивали стан рыбаки, охотники, отдыхавшие рудокопы с недалёкого Четырёхбратского рудника, пока рудник ещё работал, да и просто прохожий или проплывающий мимо народ. Посреди полянки чернело кострище с рогульками, а рядом с ним громоздился навес, покрытый горой порыжевшего лапника, стояли вёшала – одежду просушить, лодку. Осташа притащил с берега доску-сходню, на которой решил спать у костра, чтобы не застыть от земли.

Над полянкой подымался крутой, заросший соснами склон одного из Братьев. Прямо под склоном торчал крест на могиле колодника, захлебнувшегося в казёнке отцовской барки. Колодника наспех схоронили бурлаки. Месяца ещё не прошло, а крест уже покосился. И Четырёхшный лог, и полянка были в сумерках, словно под покровом Богородицы, но чеканные сосны на гребне горы ещё горели золотом заката, будто звали к себе. По-иконному лазоревое небо за соснами не успело прогреться за день и студило взгляд. От Чусовой и от ручья две стены холода огородили полянку.

Осташа сидел у костерка и следил, чтобы не опрокинулся горшок с водой, воткнувший в уголья. По заводским слободкам давно сипели самовары, что паял демидовский Суксун-завод, но кержаки-двоеданы, не отступавшие от древлеправославной веры, самоваров не держали, называя «чёртовым брюхом». И чая не пили, чтобы не отчаяться. На Чусовой работный люд, собранный заводчиками по всей Руси с бору по сосенке, давно утратил и корни свои, и отцов обряд, и прадедовскую Палёб. Но пристанские – сплавной народ из коренных чусовлян – веру держали строго. Хотя давно уж вера их растрескалась на десятки толков, в которых только начётчики могли разобраться без ошибки.

По реке у дальнего берега изредка проплывали длинные связки плотов – «кобылами» или «гусьями», собранные и в гребёнку, и в ёлку, и в накат. На первой сплётке – на хомуте, – на выстилке у длинного весла-дригальки обычно стоял мужик. На задних сплётках – на крёквинах, на жёростях – бабы, девки, дети. Осташа издали слышал звонкий девчоночий смех, и ему хотелось, чтобы плот подгрёб для ночёвки сюда, к нему. Но огромная затонувшая барка не давала зачалиться, и плоты уплывали дальше. Свет над рекой угасал. Угрюмым синим огнём зажигались омуты. Над лесами расправляли плечи чёрные скалы. Луна, как небесная полынья, морозно замерцала над косматыми хребтами, дико отражаясь в излучинах плёсов.

Осташе было чуть жутковато одному, хоть он и не грешил пужливостью. И места эти дикие, и злая слава здешних Царь-бойцов ведь человеческой кровью вспоена, и ещё рядом могила колодника, умершего без причащения, неотпетого, схороненного без гроба... Да и вообще: где-то здесь, на Четырёх Братях, в земле караулят пугачёвский клад зарытые злодеем Чикой братья Гусевы... Вот станет Осташа сплавщиком – и не будет этих жутких, одиноких ночей. Костёр будет до неба, и вокруг – усталые люди, и какой-нибудь балагур будет тешить народ побасёнками в непроглядной майской тьме над Чусовой...

«Барку продам в Усть-Койве, – думал Осташа. – Там кордон Кусьинского завода. На кордоне барки всегда нужны. Жаль, придётся за полцены отдать. Скостят и за починку, и за подъём со дна. Да ещё небось обманут на сколько-то...»

Денег после бати в доме не осталось. Не на что было починить и поднять барку, а потом нанять бурлаков, чтобы притащили её в Кашку, на пристань. Или хотя бы в Ослянку. Значит, надо барку продавать. А жаль до скрипа зубового. Батя всю жизнь копил на свою барку, не стал из крепости ни себя, ни Осташу выкупать. И вот обзавёлся. Чтобы на первом же сплаве – сгбнуть.

Без своей барки сплавщик на вольную и сытую жизнь никогда не заработает. Так весь век и будет чужие суда водить и кругом должным оставаться. А заводчики и купцы и сами с

большой охотой нанимают сплавщика с его собственной баркой. Во-первых, свою-то вдвойне беречь будет. А во-вторых... Барка стоит рублей пятьдесят. Наёмный сплавщик за один сплав получает девять рублей за чугун, одиннадцать – за медь. По меркам бурлака или углежого, конечно, это деньги огромные. Но бурлаки и углежог не знают, какими мошнами сплавные старосты бренчат – глаза вылезут от натуги, если подынешь. И сплавщик со своей баркой за сплав берёт рублей по двадцать. Это как залог или откуп. Разобьёт сплавщик чужую барку – у хозяина, заводчика или купца, пятьдесят рублей пропадёт, не считая груза. А свою барку сплавщик угробит – хозяин только двадцать рублей потеряет. Расчёт простой. А доведёшь барку до Лёвшиной пристани или до Оханска на Каме, где груз на здоровенные камские и волжские баржи перегружают, – продашь барку ещё с наваром рубля в два-три. Андреян Гилёв из Сулёма однажды так подгадал, что навару в девять рублей взял. Если не пропьёшь деньги в кабаках на Разгуляе – а старой веры люди не пьют, как никонианцы, – то вернёшься домой и крестьян подрядишь на плóтбищах новую барку построить. Да ещё останется на жизнь зимой, да в кошель – на вольную. И потому сплавщику на сплаве без своей барки – как пушкарю без пороху: только «ура!» вопить, а больше делать нечего.

Осташа совсем задумался, глядя в костёр, как вдруг услышал сзади:

– Не шевелись! Денга давай!

Осташа не испугался, но замер, недоумевая. А сзади раздался тонкий, захлёбывающийся смех, и Осташа сразу всё понял. Он оглянулся. В темноте под горой стоял Бакирка-пытарь – всем известный на Чусовой полоумный человечешко. Он целил в Осташу из длинного ружья.

Бакирка, как домовый, всегда ходил босой и без шапки, разве что шерстью не оброс. Он и сейчас стоял босиком, несмотря на земляной холод. Он был одет в какое-то немыслимое тряпье, перепоясанное полоской ивовой коры; на голове громоздилась рваная штанина. Круглое татарское лицо Бакира сплошь заросло чёрными кольцами волос.

– В другой раз прибью ненароком, дошутишься! – сказал Осташа, не вставая. – Садись к огню, грейся.

Бакирка тотчас положил ружьё на землю, уселся, скрестив ноги, и протянул над углями ладони.

Бакирка был пытарем – пытал клады. Клады, должно быть, на Чусовой и вправду имелись: тайники на древних вогульских мо́льбищах, разорённых русскими пришельцами; клады Ермака Тимофеевича и Ваньки Кольца; клады соленосов, что по тайному тракту в лесах несли в Сибирь мимо таможенных застав строгановскую соль; раскольничьи клады; клады чусовских разбойников – Зацепы, Полушки, Пантелея-казака, Степана Пульникова, Фелисаты Бабы Дружина, Парамошки Попова, Сивой Лапы, Андрея Плотникова – Золотого Атамана... Да и много ещё чьих захоронок. После Пугача стали искать клад Чики-Зарубина. Кое-кто из пытарей, случалось, и находил чего, но по большей части ерунду – ржавый меч, рваную кольчугу, медную побрякушку.

На Чусовой искать клады пробовали многие. В основном между делом, в охотку, на забаву. Но были и пытари одержимые, которым ничего на свете не надо, лишь бы шариться по глухим урманам, искать брошенные вертепы, долбить каменистую землю тяжёлым заступом в безумной надежде откопать счастье, славу, удачу. Бакирка был из этих.

– Откуда ружьё-то взял? – спросил Осташа.

Он уселся, подтащил ружьё к себе и осмотрел. Ружьё было солдатским. Ствол заржавел, ложа и приклад покособились, разбухли, шомпол был потерян, а отверстие под него забито землёй. На кольцо болтался лоскут отгнившего ремня. Осташа со скрежетом открыл замок. На затравочной полке запеклась какая-то накипь, пружину и шептало надо было менять, но в губках курка и прижимного винта ещё был зажат кремень.

– Бакир на Пещерном камне нашёл. Полез в пещеру, думал – клад найдёт, а нету ничего. Глядит сверху – что-то на камне торчит. Полез Бакир, смело лез, чуть не упал совсем. –

Бакирка счастливо засмеялся, блестя в темноте зубами. – В щеле два солдата лежат. Одни кости остались, мяса нет, одежда плохая, брать незачем. Ведь четыре года лежат, давно! В Пугача стреляли. От сапог подмётки только, а сумки патронные и ремни Бакир пальцем протыкал. Пуговиц целый кулак набрал, в Волеговке на хлеб поменял. А ружья там два было. Одно оставил, чтоб мертвец не обиделся.

– Везёт дуракам, – позавидовал Осташа Бакиркиной находке.

Бакирка и вправду был дурачок. Тронулся он в пугачёвский бунт. До того работал на Старой Шайтанке откатчиком, подымал тачки с коробами угля на верх домны. В слободке на самой окраине у него избушка стояла. Жена была, говорили, красавица, Гюльшат звали. В ту зиму, когда Батыркой и Обдей с башкирскими ордами долбили в заиндевевшие частоколы Кунгура, Белобородов с отрядами прокатился по Чусовой. Шайтанку они заняли без боя, но были до черноты лица обозлены яростным непокорством Старой Утки. В Шайтанке началась расправа, месть за кровавый уткинский приступ. Висельники закачались на воротах; порубленными мастеровыми завалили глотки погашенных домен; до полусмерти били и секли баб, что хватались за своих мужиков, повязанных бунтовщиками. Пока работным, согнанным на площадь у плотины, с крыльца разорённого господского дома читали грамоты царя Петра Фёдоровича, бунтовщики из тех, которые о кресте забыли, рыскали по домам Шайтанки.

У Белобородова в войске были два братца прозвищем Китайчата. Конечно, не из Китая они взялись, а были беглые каторжные из Нерчинского острога, буряты. Они и вломились к Бакиру в избу. Бабу его беременную изнасиловали, потом горло перерезали, как алтайской кобылице, предназначенной на заклание, да потом ещё вспороли живот и достали младенца, положили в приготовленную Бакиром зыбку – для смеха, а в живот засунули кошку. Бакир домой вернулся и увидел горенку свою, залитую кровью, как бойня, увидел окровавленного нерождённого младенца в зыбке, услышал, как кошка орёт из тела мёртвой жены. А Китайчата ничего, ржали. Та картина Бакиру стала как дробь, засыпанная лошади в ухо, – всегда в голове, и в конце концов свела с ума. Китайчата же и после Белобородова по лесам вокруг Бисёрти долго безобразничали, пока местные мужики не загнали их в болото и кольями не вколотили в трясину.

А Бакир с того дня стал ни на что уже не годен. Даже самую простую работу выполнить не мог. Тачку толкает – колесо отломит, канаву рыть заставят – так накопает каких-то собачьих ям, за грибами пойдёт – на неделю потеряется. Его и били батогами, и в холодную сажали, да без толку. Плетью в человека не вернёшь того, что бог отнял. Заблудившего в лесу и зверь не трогает: его ведь леший водит и бережёт. Отступились и отпустили Бакира на все четыре стороны.

И Бакир по простоте душевной принялся клады искать. Как ни странно, всегда что-нибудь находил. То монету золотую старинную на хлеб выменивал, то рукоять меча с самоцветом в крыже, то почерневший серебряный крест. Зимой он побирался, подавали ему охотно. Весной на сплав бурлаком ходил; на сплаве-то народ общим умом живёт, своего ума не надо. За сплав Бакиру не платили, только кормили на чужой кошт. Летом Бакир землю рыл, воровал. Его ловили и били, но не сильно. Бабы его любили за лёгкий и весёлый нрав – ну и что, что дурак. Бывало, и в тальнике его на себя заваливали. Хоть пристанские кержаки жён своих держали в строгости, без своего благословения и лучины нащепать не позволяли, секли как сидоровых коз за малейший грех, а всё ж пристанским жёнкам вольнее было, а в кое-каких толках и бесстыднее, чем заводским. Вот Бакир и жил, как птаха: поклевал – поёт, не поклевал – тоже поёт.

– Ну как, откопал клад Пугача? – насмешливо спросил Бакирку Осташа. – Если жрать хочешь, наливай из горшка. Только себе берестяную уточку сделай, не погань посуду.

Бакирка поднял валявшийся поблизости обрывок бересты и начал складывать уточку, даже не очистив бересту от коры и грязи.

– Нет, ещё маленько не откопал, – сказал он. – Крепко Переход денгу спрятал.

– Да нет тут никакого клада...

– Есть, – убеждённо возразил Бакир. – Вот, Астапа, смотри.

Он встал и выволок из лапника в навесе кованый бондарный обруч. На ржавом ободе виднелись отчеканенные буквы: «ЦРЪ ПТРЪ ФДРЧЪ».

– Это с винного бочонка, – пояснил Бакир, отнимая у Осташи обруч и засовывая обратно в лапник. – Вино выпил кто-то. А золото здесь. По приметам знает Бакир.

– По каким приметам?

– По страшным. Бакир сам видел, правду говорит. Ночью по скале семь кошек бегают, мяукают. Две рыжие, пять чёрных.

– Ну и что?

– Рыжий кот – на золото. Два бочонка золота Чика тут спрятал. Чёрный кот – мертвец, шайтан. Четырёх братьев Чика тут положил золота стеречь, закопал, спрятал. Семь кошек – на семь голов клад заговорён. Понял, Астапа?

– Семерых, значит, тебе убить надо и головы их сюда принести, чтобы клад открылся?

– Надо. Только Бакир шибко хитрый. Людей Бакир не убивал, жалко. Бакир собак убивал, обманул шайтана. Закопал собачьи головы. А где клад? Не открылся Бакиру! Другие шайтаны ещё стерегут. Пугач, Чика, Белая Борода – совсем злой люди были.

Осташа вспомнил, как на прошлом весеннем сплаве его дружок из Кумыша Никешка Долматов, ходивший с батей бурлаком, рассказывал, что стали в Кумыше собаки куда-то исчезать. Все думали, что волки их дерут. А это, оказывается, Бакир клад расколдовывал... Мысли Осташи вновь перескочили на батю. В нынешний сплав с батей Никешка без Осташи не пошёл. А Осташа не смог: батя велел с Макаровой дома сидеть: расхворалась карга Макариха не к часу. Пошёл бы Осташа с батей – может, и батя не пропал бы...

– А каких ты ещё шайтанов тут видал?

– Много шайтанов. Один раз видел – конь пасётся. Бакир за ним. Конь засмеялся человеческим голосом и провалился. Другой раз ночью видел Бакир на скале петушка огненного. А ещё другой раз просто так шёл Бакир по скалам, и вдруг как из пушки ударило! Обмер Бакир, побежал, потом смотрит вокруг – пусто! Это клад отозвался, Бакир над ним прошёл. А где прошёл – забыл! Беда! А совсем другой раз спит Бакир и слышит из-под земли... – Бакир завыл, подражая голосу мертвецов: – «Ску-ушно ли тебе, братец, в земле-е?...» – «Ску-ушно, братец!...» Страшно Бакиру стало! Ой, страшно!

– Ну ты на ночь-то давай... – поёжился Осташа.

– Вдвоём не страшно, вдвоём что!.. А Бакир один. Как-то раз вечером видит Бакир: девка тут сидит. Ну, думает, не страшно, весело ночью будет. Девка приго-ожая!.. Люби меня, говорит, Бакир, только поясок не развязывай. Бакир-то и спросил: почему? «А живот-то у меня распорот, выпадет сердце!..» Бакир глядит: девка смеётся, а у неё и горло перерезано! Закричал Бакир, руками замахал, убежал!.. Это шайтаны, что клад стерегут, на Бакира выходят! Трус Бакир. Надо было Бакиру ту девку полюбить – и открылся бы клад. А Бакир – коян, заяц. Бакир с вогуличем Шакулёй в Ёкве говорил, обещал вогулич со святой горы вогульской разрыв-траву принести, папоры цвет... Ждёт Бакир.

Батя в то лето после Пугача сказал Осташе: «На Чусовой каждый будет знать, где Чика клад Пугача зарыл, да все не там искать станут. Ну и пусть ищут. Клад тот не на удачливого положен, а на истинного царя Петра Фёдоровича, когда тот снова объявится». А над Бакиркой батя попросту посмеивался: «Не для нас клад и не для пытарей. А Бакирке же бог указчик. Пускай он на Четырёх Братьях копает. И задёлье для пустой головы, и к людям близко». Батя знал, где клад. Он сам с Чикой и братьями Гусевыми уплыл его прятать. Только ничего потом об этом не рассказывал.

– Нету клада на Четырёх Братях, – сказал Бакирке Осташа и приврал, поддразнивая: – Мне батя говорил.

– Шайтан есть, а клада нет? – засмеялся Бакир. – Бакир сам видел в логу: ночью земля светится! Думал, утром достанет клад. А утро пришло – где земля светилась? Тут? Не-ет, вон там! Или там? Где? Не нашёл Бакир место, закрутили его шайтаны! Твой, Астапа, тятка – хитрый был: клад не знал, а всем сказал, что знал.

– Как же это не знал? – обиделся Осташа.

– А так и не знал! Он ведь землю Чике не рыл. Он сбежал. Братья Гусевы рыли, братья знают, только братья сами в земле на кладе лежат. Тятка твой, Переход, всем говорил: я клад прятал! Я клад прятал! Вот я какой человек большой! Может, за то и наказали его шайтаны, утопили! Я ведь весной прямо с ним на этой вот барке плыл. – Бакир ткнул пальцем в сторону Чусовой.

– Да ну? – изумился Осташа и даже чуть приподнялся. – И ты видел, как барка об Разбойник ударилась, как она на дно пошла?

– Не-е, того Бакир не видел. – Бакирка потряс кудлатой головой. – Бакир испугался. Кумыш, Горчак проплыли – и страшно стало Бакиру. Прыгнул в воду с барки и уплыл на берег.

Бакир сложил перед грудью ладони и показал, как он прыгнул с борта в Чусовую.

– А куда прыгнул? – неожиданно заинтересовался Осташа. – На левую сторону?

– Туда, – согласился Бакир.

– Отчего же перед Молоковым бойцом ты на левую сторону прыгнул? Не в первый же раз на сплав шёл, и здешние места все знаешь. Спаситься хотел – прыгал бы направо, а налево тебя сразу на скалу понесёт.

– И понесло, ух, шибко понесло! – обрадованно согласился Бакир. – Бакир думал – смерть! Волна как дом, и вся об камень! Бакир за доску держался! Как спасся Бакир – не помнит!

– На правый борт надо было прыгать, – повторил Осташа.

– Налево Бакир прыгнул, – кивнул Бакирка. – Надо было.

– Почто?

– Надо, Астапа, верно.

«Дурак», – подумал Осташа.

Если по звёздам, так было уже за полночь. Костёр прогорел. Сосны на гребне высокой горы под луной стояли как стеклянные. Осташа подгрёб угли, улёгся на своей доске поудобнее и натянул армяк на голову.

– Давай спать, Бакирка, – сказал он. – Мне завтра ещё грести до Усть-Койвы да торговаться. Голова нужна свежая. Спи и ты. Может, завтра клад отыщешь.

Осташа только закрыл глаза – и сразу его понесло, как барку по стрежню: замелькали скалы, деревья, повороты...

Осташа проснулся перед рассветом. Бакир держал его за ногу и тихо тянул к себе.

– Ты чего? – сонно спросил Осташа.

Бакир тихо засмеялся, бросил ногу и отбежал. Он пытался стянуть с Осташа сапог.

– Ах ты вор! – рывкнул Осташа, подсакивая.

Бакир повернулся и дунул в гору.

СЧАСТЬЕ ВЫШЕ БОГАТЫРСТВА

Из воды выскочила и с шумом бросилась в кусты порёшная – выдра, когда Осташа толкнул с отмели шитик. Над Чусовой где-то за Разбойником нежно розовело небо. Пунцово горели два облачных пера, отражаясь в гладком плёсе. Осташа разбил гладь шестом, и отражения рассыпались огненными лоскутьями.

Птицы ещё не пели, и в тишине звонко цокал о камни железный наконечник шеста, словно маленький молоточек о наковальню. Было холодно. Лёгкий туман стелился над отмелями. Из-за гор выглянул спящий край солнца, и туман начал исчезать, оседая росой на короткой прибрежной травке.

Осташа миновал косые гребни Отмётыша, каменными ножами вонзившиеся в Чусовую. Оглянувшись, он долго рассматривал суводь за бойцом – сейчас безобидную, безопасную, а на сплаве – смертоносную. Мелкая волна ластилась о белую скалу, вылизывала камень, как собака своего щенка. Немало барок заглотила собачья пасть этого противотока.

По левую руку на устье речонки Шумиловки зеленел моховой горб землянки. Над землянкой не было ни дымка, ни пара. Здесь жил пермяк-бобыль по прозвищу Еран, что значит дикий, чужой. Он и был всем чужим – без бабы, без детей, без товарищей. Даже единственная корова у Ерана была как лосиха – тощая, жилистая. Паслась сама по себе неизвестно где, приходила по вечерам доиться, зимовала с Ераном под одной крышей. Ерановы псы не облаивали лодку Осташа. Значит, Еран с собаками ушёл на охоту. Напротив Ерановой берлоги на правом берегу Чусовой громоздился камень Воронки – будто огромный сундук-лубянка с сосновым бором на крышке.

За кручей Рассольной горы появилась пристань в устье Рассольной речки. У свайных причалов стояли две большие недостроенные барки, как два лаптя у порога. Их рулистерна безвольно вывернулись набок и смотрели вниз по течению. За причалами на пологом берегу было скáтище; здесь склон расчертили бревенчатые спуски – покáтни. На покатнях громоздилась ещё одна недостроенная барка, подпёртая в бок короткими и толстыми брёвнами-попáми, чтоб не съехала в воду. За баркой стояли забатóванные склады байдáнов, брёвен-белотéлов. Лежали вороха свежеполосованных толстых досок – батанцóв баркам на бортовíны. По берегу, засыпанному стружкой и грязным опилом, валялись корявые, серые, высохшие кáржи – утонувшие, но вытащенные из русла пни.

На Рассольной пристани строили суда для Кусьíнского завода. Их спускали к кордону в деревне Усть-Кóйва. От Кусьí до Усть-Койвы по реке Койве железо и чугун везли в шитиках, а на кордоне перегружали в барки. Проплывая мимо пристани, Осташа видел под горой в урочище крыши и трубы изб деревни Рассольной. За крышами торчала луковка часовни. За часовней, ссыпаясь по склону горы, светлели отвалы двух рудников. Под рудниками речка Рассольная была подпружена; пруд блестел на солнце, как серебряный. На вешняках плотины медленно вращались деревянные колёса медведок – дробилок для руды.

– Эй, парень, причаль!.. – услышал Осташа с берега.

За устьем речки Рассольной, под взлеском, среди куч щепы и мусора горел костерок, вокруг которого сидели какие-то мужики. Осташа толкнулся шестом, направляя шитик к отмели.

Мужиков было пятеро, и все уже под хмельком, несмотря на утро. Они расселись на горбылях, на обрубках-ёлтышах, жевали чёрный жвак – перетопленную лиственничную живицу, плевали под ноги жёлтой слюной. Над огнём висел котёл; в котле деревянной поварёшкой-чуми́чкой ворочала гущу какая-то баба в туго повязанном чистом белом платке.

– Чего хотели? – спросил Осташа, оглядываясь.

– Вылазь, дело есть. Гостем будешь.

Осташа вылез на берег, подтащил лодку и поднялся на угор к мужикам. Здесь верховодил пожилой толсторожий дядька с морщинистым лбом и большой кудлатой бородой.

– Ты чей? – сразу спросил он.

– Строгановский, с Кашки. Чего надо-то?

– Щёрбу станешь? Постное, как раз для вас, кержаков.

– Давай, – охотно согласился проголодавшийся Осташа. – А пост, кстати, кончился. Пасху уж справили, коли ты не заметил. Не надо, тётка. – Осташа рукой остановил бабу, доставшую помытую деревянную чашку. – Мы из своего едим, не скоромимся.

Он пошёл обратно к шитику за посудой. За спиной его кто-то из мужиков хмыкнул. Мужики, судя по одежде и выпивке, были заводские, никонианцы. Зато здешний народ, до которого не дошли пугачёвцы, сохранил добродушие и приветливость, что калёным железом были вытравлены у тех, по кому прокатилась телега бунта. Говорят, в Кусьё до сих пор на дверях в избах и засовов не делали, а если уходили куда – только батожком дверь припирали. В Кашке давно на ночной стук в ставню сначала ружьё из запечья вынимали, потом спрашивали, кто пришёл.

Осташа сам своей берестяной уточкой налил себе ухи и присел у костра, по-татарски скрестив ноги.

– Меня дядей Федотом зови, – сказал артельный. – А ты куда правишься, в Усть-Койву?

– А что, книзу-то я в Кын попаду?

– Не кудакай, дорогу осётуешь, – сказал Федоту мужик помоложе, в залатанном армяке.

– Зубастый парень, – одобрил артельный, широко улыбаясь.

– А мы, кержаки по-вашему, на Масленицу в Баронскую не ездим, потому и зубастые.

Мужики заржали. Строгановские и демидовские на Масленицу устраивали кулачный бой на льду Межевой Утки, как раз между деревней Баронской и пристанью Усть-Утка. В этом году, говорят, строгановским набили рожи и весь лёд был засыпан выставленными зубами.

– Мы чего тебя попросить-то хотели, – приступил артельный. – Коли ты в Усть-Койве будешь – найди, слушай, там нашего мужика, Афанасием зовут. У него ещё борода вся чёрная, а голова как снег. Скажи ему, что Федот Михеев просит соли привезти фунтов пять. Соли, понимаешь, нам надо.

– Как же это вы, дядя Федот, в Рассольной – и без соли?

– А что – Рассольная? Одно название! – обидчиво сказал молодой мужик с заплатами. – Здесь соль-то добывали, считай, при Анике Фёдоровиче, а это когда было? Трубы, что тогда навертели, все сгнили, не найти. И солонцов-то уже не найти, не то что труб. Зверьё распугали, а без зверя как? Самим землю жрать – пробовать? Да и цырнов у нас ни единого нет рассол выпаривать, да и не солевары мы.

– Нам, парень...

– Осташа меня зовут.

– Нам, Осташа, соль нужна медвежатину засолить, – пояснил Федот Михеев. – На кашу-то у нас и так хватает. Ерана знаешь, пермяка? Вот Еран нам вчера целого медведя подарил. Мы пока что мясо в ручей положили, но ручей в дорогу не возьмёшь. Засолить мясо надо.

– Это как это «медведя подарил»? – изумился Осташа. – Целого медведя – за здорово живёшь? Не бывает такого, мужики!

– Еран его раненого под Гусельным бойцом добил. Осмотрел и решил, что хозяин человечину ел. Вот и отдал нам даром, как падаль.

– А с чего он взял, что медведь человечину ел?

– Брюхо у него ножом пропорото было. Значит, подмял косолапый человека, а человек успел его порезать. А мы думаем, что не жрал медведь человечину. С пропоротым брюхом не до жратвы ему стало. Напал на человека, заломал и бросил.

– А не колдуна ли Еран вам подсунул? – засомневался Осташа. – Под шкурой-то красной рубахи не было?

– Ну, ты, парень, страстей нагонишь... – даже обиделись мужики. – Хочешь шкуру посмотреть? Акулина, проводи его.

– Медведи-то раньше людьми были, – наставительно заметил Осташа.

– Ну-ну, ага. А в собак сатана за обжорливость превращает...

Осташа отставил чашку и поднялся. Баба повела его в лес. Она тоже была пьяненькая, а потому и молчала, чтобы себя не выдать.

На опушке поляны на разлапистой берёзе висела скоблёной мездрой к солнцу и сохла растянутая медвежья шкура. Осташа развернул скрученный край брюшины и увидел в шкуре два небольших разреза. Меха вокруг них были чёрные от спёкшейся крови. И вправду медведя били ножом в живот. А мездру мужики выскоблили худо, но всё ж прилипших лохмотьев красной рубахи на ней видно не было.

– И что, никакого слуха не прошло, что медведь на человека кидался? – спросил Осташа, когда вернулся обратно и уселся у костра. – Никто не пропадал? Мертвяков не находили?

– Мы по лесам-то особо не шастаем, не вогулы, – ответил дядя Федот. – Да и опаска. На Гусельном, говорят, часто медведей видят, нам туда лучше не соваться. Так что никого не находили. И слуха, что человек из лесу не вернулся, тоже не было. Пёс его знает, где медведь ножа отведал.

– Да уж... – Осташа выдрал клочок травы и стал протирать свою чашку. – А вы, мужики, значит, обмываете приобретение?

– Нет, не то. Мы, видишь, решили от артели отколоться. Хоть нас, мужиков, в Рассольной всего-то по четырём рукам сочтёшь, а вот решили, и шабаш. На барках, на лесопилке много не заработаешь. Пойдём руду ломать. – Дядя Федот подгрёб в костёр щепок.

– Федот Петрович горку рудную нашёл, – пояснил молодой мужик. – Сбил нас в артельку малую. Мы ему окладную выставили.

– А много на руде заработаешь? – простодушно спросил Осташа, и мужики засмеялись.

– Какой оклад возьмёшь, столько и заработаешь, – пояснил дядя Федот. – Побольше, чем здесь на плотбище. А сколько – не спрашивай. Не принято у нас отвечать.

– Понятно, – кивнул Осташа. – И где же эта горка рудная?

– На Тесовой речке, – ответил дядя Федот и хитро сощурился.

– А что это за речка Тесовая? Не слыхал о такой. Где она?

– Где я затёсы поставил, вот там и она.

– А-а, тайна, значит, – догадался Осташа.

– Конечно, тайна. Разболтаю – так кто другой ушлый объявит руду своей, и плакал мой оклад.

– А как ты, дядя Федот, руду находишь? Вроде все горки одинаковы... Всякий раз, что ли, дудку бьёшь?

– Зачем же сразу дудку бить? – улыбнулся довольный Осташиним вниманием дядя Федот. – Так сто лопат изотрёшь, прежде чем на одну лопату железа добудешь. Правила есть свои, как и у вас, пристанских. Хитрости разные. Я-то вот просто по выскирам щупом тычу, где руда голос подаст. А дед у меня всю тонкость знал. Мог руду и по блеску речного песка-сверкуна определить; и в ручьях, что над рудой текут, говорил, вода кровью на вкус отдаёт; и по затёсу на стволе определял, что за порода под корнями у дерева; и по мху. Жаль, я так не могу. Но уж как могу – так не спускаю.

– А не жутко руду в дудке ломать? Я один раз только голову в кычку засунул – так оттуда прямо могильным холодом дохнуло.

– Жутко, парень, – согласился дядя Федот. – Ну да мы стараемся близкую руду работать, чтобы рудник просто ямой был. В дудке-то крепёж уставить и вандрутами распереть – так

половина сил уйдёт. Да и сгннуть можно в дудке от воды подземной. Это уж когда прижмёт – в дудку-то лезешь. А так нам солнышко-то любо, под землёй ещё належимся. А ты, Остафий, коли пристанской, так шитики, насады умеешь ведь ладить, да? Пошли с нами в артель. Мы будем руду ломать да на медвёдках дробить, а ты будешь лодки строить и возить руду в Кусью. Плату – по справедливости. Давай, а? Парень ты, вижу, крепкий.

– Спасибо, конечно, дядя Федот, но я с Чусовой – никуда.

– А кто ты там, на пристани?

– Сплавщик.

– Да ну?!.. – дружно изумились мужики, с уважением глядя на Осташу. – Такой молодой – и сплавщик?

– Я с малолетства хлеб с плесенью ел, хорошо плаваю, – усмехнулся Осташа. – Вы к моим летам добавьте ещё те, что у меня отец и дед на скамейке простояли, – мало не будет.

– Понятно, значит – потомственный... – Дядя Федот покачал головой. – Лихое дело у вас. Ведь всякий сплав по кромочке ходите. Вам голову сломить – как шапку сронить.

– У нас, у коренных, кровь такая – шальная. Мы же, сплавщики исконные, род свой ведём от чусовских казаков, от дружины Ермака Тимофеевича, – убеждённо сказал Осташа. – Сами-то вы, мужики, пробовали хоть раз себя на сплаве?

– Нужда ещё в бурлачество не гнала, а по доброй воле кто ж к бесу в зубы полезет?

– Ты лукавого не поминай, дядя Федот... А лучше хоть раз попробуйте. Кто хоть раз с Чусовой по весне схлестнулся – навек запомнит. Всю жизнь тянуть будет снова и снова себя испытать.

– Испытать... – усмехнулся один из мужиков. – Это не себя испытать... Это как к хмельному пристраститься. – Он цокнул ногтем по боку стоящей рядом долблёной баклагы. – Коли пристрастился – за бороду не оттащишь.

– Нет, у нас не то, – не согласился Осташа. – Чусовская вода – не брага. Не хмелит – протрезвляет. Говорят, на сплав пойти – всё равно что на кулачный бой... Даже нет, всё равно что с туркой на саблях сразиться. Может, и так – не сражался. Но когда с Чусовой схватишься и победишь – как родишься заново. Мой батя говорил: будто душу омоешь. Можно, конечно, и сгннуть, так ведь сгннуть везде можно. Рудокопов в дудке заваливает, углежог в кабане заживо сгорают, лесорубов деревьями давит. Я уж про тех, кто в домнах железо варит, и не говорю.

– Всё то, но тут – работа, а у вас – просто сеча на всём скаку. Нет, Остафий... Счастье выше богатырства. Молодечеством счастья не добудешь. Кайлом махать, конечно, скушнее, да зато надёжнее.

– Может, и так, – пожал плечами Осташа. – Только судьбу себе не выбирают. Как мы Чусовую не выбирали. Другой-то реки всё равно нету. Надо по этой плыть – и живым остаться, и людей сберечь, и груз довести. В том и вся премудрость. Меня так батя учил. Дорога – она доведёт до цели; главное – не убиться в пути.

– Что-то разговор у нас серьёзный завязался... – вздохнул дядя Федот и мигнул бабе. – Ты уж прости, Остафий, но мы люди не раскольные, грешны: в брюхе аж горит, залить надо. Достань-ка чарки, Акулина.

Мужики приободрились, но для Осташи приняли сокрушённый вид: мол, без чарки с таким разговором не управиться. Осташа поднялся на ноги. Он не хотел смотреть, как будут пить.

– Ладно, люди добрые, спасибо за приют, – сказал он. – А у меня ведь и самого дела есть. Я уж поплыву. Афанасию вашему передам насчёт соли, не забуду. Бывайте здоровы.

– Ну и тебя храни бог, – сказал дядя Федот, а мужики стащили шапки и поклонились.

В УСТЬ-КОЙВЕ

Сразу за деревней Рассольной правый берег поднялся и оскалился утёсами. Сизая на ярком солнце глыба Гнutoго камня и вправду словно была согнута кем-то пополам об колено. Зубец Башни прятался за ёлками – его с воды и не различить было, если не знаешь, что он есть. А перед Гусельным бойцом в Чусовую сползал шорох – щебневая осыпь, на которой Еран позавчера подстрелил раненого медведя.

Чусовая ударялась в огромные каменные гусли бойца Гусельного, словно хотела сыграть на струнах сосен, как Кирша Данилов играл под тагильскими домнами. Но каменные гусли молчали, и река сама журчала и пела за ребром бойца. Беспокойной струей она убегала к Кобыльим Рёбрам, что торчали из высокого склона. Рёбра были облеплены колкками елей, точно кусками мяса. А за распадком в шерсти мха топырились собачьи титьки бойца Сосуна. От Сосуна, насосавшись, Чусовая отваливала и катилась к Усть-Койве, правым боком сдирая стружку о пласты Дыроватых Рёбер. Они выщербились из крутого откоса, как задиры на доске, обструганной против волокон. Яростно пробуравил Осташу пустой, совиный глаз скалы – огромная дырина в утёсе, которую усть-койвинцы уважительно звали Царскими Воротами. За этими Воротами открывалось царство изломанных валунов и плесневелого бурелома. В расщелинах камня вокруг Ворот торчали лучинки стрел, пущенных вогулами в эту дыру на удачу.

За скалой в два ряда потянулись избы Усть-Койвы, выстроившись по правому берегу Чусовой почти на пару вёрст. Осташа причалил возле плоскодонного полубарка, на котором, закрыв лицо шапкой, дрых перевозчик. Осташа растолкал мужика, поручил ему пригляд за лодкой и штуцером и пошёл искать этого самого Афанасия из Рассольной. Афанасий и ему бы пригодился как свидетель при совершении купчей на барку с кордонским приказчиком.

Осташа долго барабанил в калитки, кидал камешки в ставни изб, объяснял глупым бабам и мальчикам, кого ему надо, пока сам в проулке не наткнулся на Афанасия. Афанасий не сразу поверил в заказ на пять фунтов соли от какого-то совсем незнакомого человека, а потому расспросил Осташу основательно. Убедившись, что Федот Михеев и вправду заказал соль, он всё же не согласился быть свидетелем купчей, но зато сказал, что в Усть-Койве сейчас находится строгановский сплавной приказчик Кузьма Егорыч, и пусть Осташа идёт к нему вот туда-то и туда.

Кузьма Егорыч остановился в доме знакомого кержака. На заплоте сидели два голубя, оба – срыж: знать, здешний домовый каурых любил. Осташа пошаркал сапогами на крыльце и, сняв шапку, толкнул дверь. В просторной горнице было солнечно и чисто. Хозяин, видно, куда-то ушёл; ребятня, как и положено, укатилась за реку удить на перекатах; баба хозяйская в закуте за занавеской бренчала печными заслонками. Кузьма Егорыч сидел за широким столом и кушал борщ прямо из чугуна. Перед ним на полотенце лежал заранее наломанный хлеб. Кузьма Егорыч перед каждой ложкой борща бережно брал кусочек длинными веснушчатými пальцами и отправлял в рот, опрятно сдвигая набок длинную и редкую бороду. Был Кузьма Егорыч рослым, но каким-то рыхлым, одутловатым. Большое и плоское лицо казалось бледным по сравнению с рожами бурлаков и сплавщиков, прокалённых на сплавах солнцем и непогодами. Намазанные маслом и разделённые надвое волосы лежали на голове плоско, как приклеенные. Маленькие глазки были утомлённо прикрыты тяжёлыми красными веками.

– Ну, садись, – тихим, тонким голосом пригласил Осташу Кузьма Егорыч и кивнул на скамью у стены.

– Просьба у меня к тебе, дядя Кузьма, – сказал Осташа. – Будь мне свидетелем купчей на отцову барку. Кордону её продам.

– Труд мзду требует.

– Двугривенный.

– Не щедр ты, братец.
– Так ведь и труд не велик – титлы нарисовать.
– Не в труде цена, а в том, кто его делает, – наставительно изрёк Кузьма Егорыч.
– Я и за двугривенный много народу в свидетели найду.
– В батю волчонок пошёл, – спокойно заметил Кузьма Егорыч, отодвигая чугуны и ссыпая хлебные крошки с полотенца в ладонь.

Осташа шмыгнул носом, прищурившись, и скрестил пальцы на руках.

– Ты мне скажи сразу, без страха, Кузьма Егорыч, с глазу на глаз ведь сидим: сколько тебе заплатить надо, чтобы ты будущей весной меня сплавщиком на хозяйскую барку поставил – хоть от Кашки, хоть от Билимбая или Кына, да хоть от Ослянки в наём?

Все знали про поборы сплавного старосты: хочешь идти сплавщиком на хозяйской барке – плати. Кого куда поставить – приказчик распоряжается.

– Думаешь, Кузьма Егорыч шибко закорыстовался? – совсем тонким голосом громко спросил староста. – Думаешь, изба у него золотом крыта? Да я за эти деньги через вас спиной отвечаю! Вы барку убьёте, а хозяева с кого спросят? С меня! Нечего, мол, было еловый пенёк на скамейку ставить!

Строгановы не дали Кузьме Егорычу выкупиться из крепости – это тоже все знали. Крепостного старосту легче в кулаке держать. Но чтоб Кузьму Егорыча хоть раз растянули – про такое никто и слыхом не слышал, хотя на каждом сплаве барки убивались и бурлаки тонули.

– А ты мне слезу не дави, – зло сказал Осташа. – Мне ведь тебя благодарить пока не за что. Или тебе денег от меня мало, надо ещё и шапку поломать?

– Тьфу на тебя, щенок, – тихо ответил Кузьма Егорыч. – Не будешь ты у меня сплавщиком – никогда. Это я тебе обещаю. Отцову барку продашь, и ступай на плотбища. На железных караванах тебе только у потеси до кровавого пота бурлачить, а не со скамейки сплавщицкой кукарекать.

Кузьма Егорыч устало прикрыл глазки, но борода его тряслась. Осташа понял, что староста из всех сил сдерживает свою ярость, чтобы не сорваться на брань.

– За что это ты меня так невзлюбил, дядя Кузьма? – спросил Осташа, чуть пригибаясь, чтобы увидеть глаза Кузьмы Егорыча. – Никак за батю, который тебе никогда копейки не платил и спину перед тобой не гнул?

– Шут с батей с твоим, с Переходом. Он своё получил.

– А мы с тобой своего ещё ждём, так что к шути посылаю ты пока поостерегись, дядя Кузьма. Не дашь мне барку добром сейчас, за мзду, пока я никто, – так потом вообще ничего от меня не получишь. Я и сам найду к весне купчину, чтобы сплавщиком наняться. А как один раз свожу барку начисто, так и пойдёт ко мне заказчик мимо тебя. Имя Перехода на Чусовой много значит.

– Раньше значило, а нынче – нет. Опоганил батя твой ваше имя. Барку по умыслу убил, сбежал и казной пугачёвской попользовался.

Осташа почувствовал, как опять у него от гнева повело скулы.

– Тебе ли байки эти повторять, дядя Кузьма? Ты ли батю не знал? Я говорил с тобой, так вроде не оплевался, чтоб напраслину терпеть. Какая казна, какой умысел? Мёртв батя!

– Не знаю, я его не отпевал. А Колывана Бугрина народ слушает – и Колыван про твоего батю говорит, что попользовался, барку убил и сбёг. И чем доказать ему есть.

– Колыван бате старый соперник. Сколько заказов купцы у него отбирали и бате отдавали? Колыван – сильный сплавщик, но до бати не дорос, а душа у него чёрная, вот и лаёт.

– Чего ему лаять, коли Удачи-Перехода не стало?

– Чтобы меня охулить, потому что я Колывану соперник буду не хуже бати.

– Да кто тебя знает-то, сопляка? Кому надо тебя оплёвывать? Мало ли, что имя Перехода! У Колывана вон девка Неждана, так что – сгнибни Колыван, купец пойдёт её в сплавщицки нани-

мать? Нету тебя, понимаешь? Я вот смотрю на тебя в упор – и не вижу! Нету теперь и имени Переходов! Теперь всякий знает: Переход за корысть барку убьёт, Переход у царя Петра Фёдоровича деньги украл! Кто теперь тебе поверит, кто заказ даст? На меня одного у тебя надежда была, а мне на тебя плюнуть и растереть, и мзда твоя не нужна!

Лицо у Кузьмы Егорыча тряслось, но слова его были обдуманы, прозвучали не в запале ругани. И Осташа, зверея, чувствовал, что тонет, как в трясине, – ни рукой, ни ногой не шевелить. За Кузьмой Егорычем стояла неправая, но сила – тупая, равнодушная, подлая.

– Думаешь, один ты, выжига, на сплаве хозяин? – хрипло спросил Осташа. – Я за правдой на совет сплавщиков пойду: к Байдину в Шайтанские заводы пойду, к Вблеговым, к Мезэниным на Плешаковку, к самому Конону Шелёгину в Ревдú!

– Ну и что? Считаешь, старики тебе поверят, а Колывану – нет? Вб тебе! – и Кузьма Егорыч сунул под нос Осташе кукиш.

Осташа не удержался, отшиб кукиш так, что Кузьма Егорыч локтем сбил со стола чугунок и зашипел от боли. Осташа встал, нахлобучил шапку и пошёл прочь.

– Если двугривенный надо – сходишь на кордон сам, – сквозь зубы сказал он уже с порога. – Разменяй на медяки, да в карман насыпь – медяк от судорог помогает. – И грохнул за собой дверь.

Кипя, он широко шагал по улице Усть-Койвы мимо высоких заплотов с воротами под кровлей, мимо крепко рубленых домов на подклетах, с маленькими окошками и висячими крыльцами. Встречных он не замечал, не кланялся. Подвернувшуюся добродушную псину стегнул прутом поперёк хребта. Доски настилов вдоль разъезженной дороги прогибались под Осташей так, словно бы он стал вдвое тяжелее. Выйдя за околицу, Осташа по мостку пересёк ложок с весенними размывами глины на дне, потом – еловый перелесок. Слева за еловыми лапами вспыхивала под солнцем Чусовая. На широкой отмели, которая в межень обнажится до середины русла и побелеет, будто костяная, лежали две барки, уже приготовленные для будущего каравана. За перелеском начался кордон Кузьинского завода.

Обнесённый частоколом, как разбойничий вертеп, он был построен на стрелке Чусовой и Койвы. Осташа обогнул угол и вошёл на огороженный двор. Здесь в ряд стояли могучие, приземистые амбары со взвóзами, разбитыми конскими копытами. В амбарах под замками хранился в ларях на вес скобяной товар и пушечные ядра, поленицами лежали штыки меди. Горы чугунных чушек, которым нипочём были дожди, громоздились вдоль частоколов. Под навесами, укрытые промасленными рогожами, высились кучи железных полос, листов и прутков. Возле дальних ворот мелькали люди, таскали по сходням с берега Койвы грузы только что пришедшего каравана. Приказчик командовал; писарь у раскрытых ворот амбара пересчитывал товар; артельные руководили разгрузкой шитиков. Протока меж островом в устье Койвы и свайными причалами кордона плавучими перестягами разлинована была на большие ячеи ба́нов. Шитики беспорядочным косяком качались в ячеях у берега.

Обходя лужи, Осташа направился к конторе. На крыльце, прислонив ружьё к перильцам, сидел пожилой солдат в мундире. Его шапка пирогом потеряла весь артикул, обвисла над ушами, позумент с неё облез. Сняв сапог и закатав штанину, солдат смазывал какой-то дрянью своё синее, распухшее колено.

– Сразу застрелишь или пройти можно? – спросил Осташа, останавливаясь у крыльца.

– Могу и сразу, – согласился солдат, не подымая головы. – Не видишь – заперто. Нету никого. Приказчик вон там, на разгрузке.

– А ты чего тогда сторожишь? Щели в половицах?

– Казну кордонскую, дурак. Подожди, Илье Иванычу сейчас не до тебя. Сядь вон там, на чурбак, от оружия подальше.

Осташа уселся на чурбак у крыльца.

– Колено-то где повредил? – уже миролюбиво спросил он.

– Осколком гранаты турецкой под Козлуджем разбило. Вот и списали из гренадерской роты, с глаз долой от Александра Василича.

– Значит, против Петра Фёдорыча на Чусовой ты не воевал?

– Вор твой Петр Фёдорыч. Но я не воевал. А коли и воевал бы, тебе-то что?

– Да ничего. – Осташа пожал плечами.

– Эй, служба, дай водицы попить, – раздался вдруг голос откуда-то из ближайшего амбара.

Солдат вздохнул, вытащил из-за спины медный ковшик и протянул Осташе.

– Не почти за труд, парень, отнеси воды арестанту. В окошко ему подай. Тяжело мне самому ковылять, да и расплескаю.

Осташа поднялся с чурбака, зачерпнул воды из бочонка, стоящего под потоком, и пошёл к амбару. Волоковое окошко-щель было шириной с ладонь. Осташа сунул в него ковшик и увидел, как две осторожные руки приняли ковш и утянули в темноту. Через некоторое время ковшик выполз обратно пустой.

– Слышь, покажись-ка, – попросил Осташа арестанта.

Бледное лицо появилось в щели окошка.

– Я тебя по голосу узнал, – сказал Осташа. – Ты ведь Кирюха Бирюков из Старой Утки, да?

– Верно, – удивился арестант. – А ты кто?

– Осташка Переход. Мы с тобой сопляками в бабки лупились, пока наши батки свои сплавные дела обсуждали.

– Не помню, – виновато сказал арестант.

– Память у тебя не сплавщицкая...

– Так я не сплавной, я по плотбищному делу был.

– Эй, кончай с арестантом говорить! – издалека прикрикнул солдат. – Ну-ка поди отсюда!

– Ладно, я ещё вернусь, – пообещал Осташа и пошёл обратно к крыльцу. Он снова уселся на чурбак и спросил солдата: – Что за тать у тебя под замком сидит?

– А я почём знаю? – хмуро ответил солдат. – Моё дело – стеречь, а исповеди пусть послушает. Этого татя со сплава сняли. Его везли откуда-то с заводов в Оханск, чтоб дальше по Казанскому тракту гужом отправить, да барка пробила на камнях у Воронков, плыть не смогла. До ближайшей оказии велели татя закрыть в амбар.

– Верно, знатный разбойник был. То-то я гляжу – бородача от глаз, волосья колтуном, руки в шерсти, за плечом мешок с отрубленными головами.

– Тебе чего от меня надо? – разозлился солдат. – Я его, что ли, заковывал?

– Я с этим татем сызмальства знаком. Хороший парень, работающий и добрый, только глупый.

– Ну, давай я тебя умного к нему под замок посажу. В остроге побратаетесь, уму поучишь его.

– Лучше дозволю мне ещё с ним поговорить.

– Не положено.

– Ему ж в ад идти. Хуже, чем в солдатчину.

Солдат, отвернувшись, молчал. Осташа снова встал и пошёл к амбару.

– Кирюха, – позвал он, – это опять я, Осташка. Ты за что сюда попал-то?

Кирюха подошёл к окну, но ответил не сразу.

– Девку мою приказчик велел прислать к себе помы мыть. Она не пошла. Он велел высечь её до полусмерти. Я за это его в лесу подкараулил и пальнул в него. Жаль, не убил. Разиня я. Мало что промазал, так и пыж свернул из лоскута, который от своей рубахи оторвал... Приказчиковы псы нашли пыж, стали по всему заводу рубахи перетряхивать. Отыскали мою.

«Не везёт Старой Утке на хозяев и начальников, – подумал Осташа. – Федосова, управителя тамошнего, Золотой Атаман убил. Курлова, сержанта, что оборону от Белобородова держал, на батарее зарубили. Паргачёва, которого Белобородов начальником поставил, повесили. Демидовы после бунта завод заводчику Гурьеву тотчас продали, Гурьев тотчас перепродал графу Ягужинскому, граф – Савве Яковлеву, этому волчине... Яковлевский приказчик тоже вот, оказывается, под пулю чуть не угодил...»

– И куда тебя везут? – спросил Осташа Кирюху.

– Не знаю. Может, в острог, может, в каторгу. Я ведь не сразу отдался. Одного приказчи-чьего прихвостня убил в драке-то и в лес бежал. Полгода с Кондаком-разбойником в пещере прятался, пока не выследили и не взяли.

– В какой пещере?

– В Пещерном камне, который за Омутным бойцом.

– В левой пещере или в правой?

– Я же не сорока по скалам прыгать... В левой.

– Так ведь там, говорят, проклятое место. Вогульцы идолопоклонствовали. Говорят, вся пещера костями человеческими засыпана.

– Я и сам, видно, проклятый человек, – грустно сказал Кирюха. – А про пещеру брешут. Идолок там есть, бронзовый, только маленький. И костей много, но все звериные. Пещера хорошая, надёжная. Там у нас даже окошко было, чтобы смотреть, не идёт ли кто незванный.

– Чего же тогда вовремя солдат-то не усмотрели?

– Кондак проспал. Пьяный был, скотина. За то и смерть ему.

– Убили, что ли, когда брали?

– Не, потом сгиб. Мне бурлаки рассказывали, которые меня везли. Кондака в казёнке к стене приковали. А барка об Разбойник ударилась. Затонула под Четырьмя Братьями, и Кондак вместе с ней. Поделом вору мука.

«Вот, значит, кого вёз батя!» – удивился Осташа.

– Чего ж ты о подельнике своём так плохо говоришь? – с каким-то даже осуждением спросил Осташа.

Из-за бати он чувствовал и свою вину перед тем разбойником, который так страшно и нелепо погиб в тонущей барке.

– Да подлец он, чего уж там, – тоскливо отмахнулся Кирюха. – Душегуб. Была бы у меня сноровка одному перезимовать, иль был бы я в расколе, чтобы в скиту спрятаться, так сроду бы к такому не припал, а след увидел бы – и в след плюнул. Кондак четыре года на Чусовой ошивался, клад Пугача искал. Такой человек был поганый, что не открывался ему клад. Был бы клад на головы заговорён – Кондак бы вдвое больше голов принёс; пришлось бы голодать – товарища бы съел. Это я сейчас понимаю. А тогда задурил мне Кондак голову. Говорил, что точно место клада знает, нашёл, догадался, только не взять клад зимой, надо весны дожждаться. Тогда я ему ещё верил. Он ведь врал мне, что зовут его по-настоящему Сашка Гусев. Он из тех Гусевых, что должны на кладе у Четырёх Братьев лежать, только он вывернулся от Чики-Зарубина и утёк. Потому и не знает место клада.

Это известие как обухом в лобшибануло Осташу. Он даже отшатнулся от окошка амбара.

– Эй, Осташка, ты куда?... – позвал Кирюха. – Не бросай меня, брат!... Выручи, дай ножик! Я окошко обстругаю и утеку! Я другое место знаю, где спрятаться, не найдут меня! Не жить мне без Дашки, понимаешь? Нигде не жить – ни в Сибири на каторге, ни в остроге, ни в соседней деревне!... Дай ножик!...

Кирюха молил, но Осташа повернулся и пошёл прочь, обрушился на чурбак возле крыльца, где по-прежнему сидел солдат-караульный. Теперь он дымил из-под усов короткой глиняной трубкой.

Будет ли когда-нибудь ему покой от этих проклятых дядёв Гусевых? Ведь почти четыре года прошло, как они исчезли... Осташа вспоминал тот день того страшного пугачёвского года, когда они с батей вернулись со сплава и обнаружили в своём доме Гусевых; вспоминал то утро, когда проснулся, будто его домовой толкнул, и увидел, что ни бати, ни Гусевых в избе нет. Макариха сказала, что ночью пришёл какой-то человек и куда-то увёл и Гусевых, сынов её, и батю... И неделю о них ничего не было известно. Макариха голосила по сыновьям и рвала волосы. Осташа молчал с очерстевшим в страшном предчувствии сердцем.

Батя возвратился в Кашку только на восьмой день – один. Он кратко и устало рассказал, что той ночью в Кашку к Гусевым приплыл пугачёвский атаман Чика и привёз с собой царёву казну. Гусевы с пугачёвцами кровью повязались и потому сделали, что Чика приказал: приневолили батю. Ведь батя всю реку знал, и Гусевы силком взяли его с собой, чтобы он нашёл подходящее место клад схоронить. Потом, понятно, Гусевы думали батю в землю в сторож к золоту закопать. И чего там случилось – батя не захотел говорить. Только сказал, что клад спрятан, и спрятан так, что на Чусовой все будут знать, где он, но никто не сможет достать. «Казна та – царя Петра Фёдоровича, и только Пётр Фёдорович возьмёт её, когда придёт, а больше никто не возьмёт, даже я не возьму», – тихо и твёрдо сказал батя.

А Гусевы так и не вернулись. Может, зарезал их батя?.. Нет, Осташа не верил, что батя мог их зарезать. Не таким он был человеком. Но куда Гусевы провалились – Осташа не знал, а батя не говорил. И даже велел никогда не спрашивать его об этом деле. Ну а народ-то решил, как проще: зарезал, чего уж тут гадать. И никто Переходу того в вину не ставил: туда Гусевым и дорога.

– Что, не дал ты арестанту ножика? – перебил Осташины мысли солдат и указал трубкой на голенище Осташиного сапога.

– У меня спина по плетям не чешется, – мрачно ответил Осташа.

– А ты мне отважным парнем показался...

– Крестись, чтоб не казалось.

– Дай ты ему ножик, пусть бежит. Дай, и сам сразу уйди. Никто тебя здесь не видел. Придешь завтра как в первый раз. На тебя и не подумают.

– Так на тебя подумают, дядя, – зло возразил Осташа. – Думаешь, колченогих под батоги не кладут?

– А у меня ножа не было, приказчик видел. Зачем мне нож? У меня штык. Штык при мне останется.

Осташа внимательно посмотрел солдату в глаза. Глаза были усталые, выцветшие, бесстрашные.

Дать, что ли, ножик этому Кирюхе-ротозею?.. Иссохнет ведь парень по своей девке. Осташу не пугала каторга, острог. Чем жизнь слаще каторги? Не пугала неволя – и без того все в крепости. Пугало отлучение. Отлучи его самого от Чусовой, отними у него весенний вал, барки, рёв бойцов над рекою... Нет, отлучённому лучше умереть. Осташа встал и в третий раз пошёл к амбару.

– Эй, Кирюха, – позвал он. – А где ты спрячешься, коли убежишь?

Парень подскочил к окошку, жарко зашептал:

– Отсюда через две версты по левую руку река Побыш впадает, знаешь? Её тайный тракт пересекает, вон на той прогалине выход с него, видишь?..

Осташа знал про этот тайный тракт, который теперь уж ни для кого не был тайной. Его сто пятьдесят лет назад проторили строгановские солёносы, чтобы в обход верхотурской таможни беспоплавно таскать в Сибирь соль, а оттуда – рухлядь. Сейчас тракт уже заброшен был: кому он нужен, если проложена хорошая казённая дорога, а таможни в Верхотурье давным-давно нету.

– Вот от того места, где тракт Поньш перескочит, вниз по реке на версту под Кладовым камнем пещера есть. Входец совсем маленький, только вплотную найдёшь, – всё пояснял Кирюха. – К пещере даже тропочки нет, надо знак знать – кедр-езуйтка там стоит, двойняк, который корнями сросся. От него напрямик в гору. А в пещере петля подземная. Залезешь в неё, сам не заметишь как, и будешь ползать по кругу, пока не околеешь, ежели вылаза не запомнил. Коли меня и в пещере накроют, я в петлю улезу и с другой стороны убегу. Мне бы только отсюда утечь – я как оборотень над пнём исчезну!..

– Откуда вызнал-то про пещеру?

– Откуда-откуда... Кондак показал.

Осташа подумал, вытащил из-за голенища нож и протянул его в окошко.

– Брат, спаси тебя бог, брат... – забормотал Кирюха и вдруг заплакал: – Свидимся – с меня долг, Осташка... А не свидимся – век за тебя буду молиться... Вам, сплавщикам, всегда надо, чтобы за вас молились...

– Ну, раскис, как баба, – буркнул Осташа и плюнул в крапиву под стеной. – Ты мне вот ещё одно что скажи: этот Кондак твой – он и вправду Сашка Гусев был?

– Откуда же мне знать? Только я так понимаю, что Гусевым-то ему незачем зря называться было, если он не ведал, где клад схоронен.

КОЛЫВАН

Деньги были завязаны в кошель, а кошель лежал в рубахе над поясом и грел брюхо. Осташа упбром подымался вверх по течению домой. Под Четырьмя Братьями он вновь осмотрел барку – теперь уже не отцову, а Кусьинского кордона. Колывановы прихвостни продолжали грабёж: кровлю с коня содрали до стропил, принялись разбивать палубу. Осташа только зло-радно ухмыльнулся.

От каменной подковы бойца Мболокова была видна вдаль обросшая иглами сосен громада бойца Горчака. Напротив Горчака светлели крыши деревни Кумыш.

Устье речки Кумыш загромождали насады и полубарки. В деревне стоял государев кабак, и сплавной народ предпочитал ночевать в Кумыше, чтобы не расходовать ночь даром. Непогожее утро только разъяснилось. По судам ходили работнички, держались за головы и поставывали. Деревня привольно раскинулась по луку и радовала глаз чистым, дождевым серебром кровель и венцов: она ни разу не горела, и все дома были старые, выцветшие до седины. Белые дымки поднимались к мутному, похмельному небу.

Кумыш журчал, огибая могучие носы сплавных судов. Он бежал издалека, но, как пёс-недомерок, так и не вырос, оставшись речкой-щенком. Где-то в лесных едбах и папортях он проваливался под землю и три версты протискивался сквозь изъеденные дырами каменные недра, а потом кипунот выбивался из-под скалы, бурлил и рычал, но успокаивался в тишине под еловыми лапами и снова шустро катился дальше к Чусовой.

Осташа причалил лодку, вылез на берег и огляделся. Подальше, у поворота, девка, подоткнув подол, тёрла дресвой деревянные плошки. Осташа направился к ней, и вдруг дорогу ему преградил малец лет десяти-двенадцати.

– Тебе чего от девки надо? – спросил он с вызовом.

– Ну... а чего всем мужикам от баб надо бывает? – как взрослого, с деланым недоумением спросил Осташа парнишку.

Парнишка тотчас заулыбался во весь щербатый рот.

– Так сразу, что ли? Не выйдет.

– Ну, пособи.

– Это сеструха моя, – вздохнув, сказал парнишка. – Мне тятка велел, чтобы я всегда смотрел, когда она посуду мыть ходит, как бы сплавные со хмеля её на судно не заволокли.

– Да-а, не повезёт мужикам, – посочувствовал Осташа. – Тогда скажи мне, где дом Колывана Бугрина?

– А тебе почто?

– Вот ведь ты какой суровый кержак! – Осташа хлопнул себя по бокам. – Ну ничего ведь не скажет, пока про всю родню до третьего колена не вызнает! Хочу я попросить Колывана, чтоб он всех мальцов в пучок связал, а то мне печь растапливать нечем.

– Полно тебе, – продолжая улыбаться, сказал мальчишка. – Я сын Колывану буду, Петрунька. Охота знать-то. К тятке все на поклон идут, да он не всех велит пущать. Ну чего тебе надо?

– Да ты не веришь, Петрунька. Бока ему наломаю.

– Да ну? – изумился мальчишка. – А не брешешь?

– Если он мне наломает, то считай, что набрехал.

– Тогда и от меня ему отвесь.

– Вот так дитятко дядя Колыван вырастил, помощничка!..

– Я ему не помощник. Знаешь, как он меня дерёт? Тебя бы так тятка драл, так ты бы давно уже помер. Он мне уши, как у зайца, все выкрутил, и зад у меня, как репа, распух. Я будущим летом сбегу от него, надоело. А ты кто будешь?

– Сплавщик.

– Возьмёшь меня весной на сплав бурлаком?

– Возьму, – серьёзно согласился Осташа.

– Брешешь, – с сожалением не поверил Петрунька.

– Все у тебя «брешешь» да «брешешь». Ты что, правдивых людей никогда в жизни не видел?

– Не видел, – согласился Петрунька. – Все брежут, и тятка брешет, и я брежу, а он меня лупит, если поймает. Как ты меня возьмёшь бурлаком, если мне всего одиннадцать годов?

– Так и возьму. Тятка твой, кстати, с десяти лет бурлачил, вот. Ты меня запомни. Я Осташа Переход из Кашки. А теперь сказывай, где ваша изба.

– Ладно, я сам доведу, – подумав, решил Петрунька. – А сеструху пусть хоть чёрт уволочёт, ему же хуже.

Грузные, кондовые дома Кумыша слепо глядели на широкую улицу тусклыми пузырями окошек. Мостки вдоль высоких заплотов были сбиты из расколотых пополам брёвен. В огромных лужах посреди улицы лежал всякий хлам: кучи тряпья, черепки битых горшков, плашки раздавленной бочки, сломанное тележное колесо; плавали разбухшая солома и лепёхи навоза. Над дальними крышами поднималась глыба Горчака с соснами поверху.

Осташа узнал дом Никешки Долматова, своего приятеля по сплавам, а вскоре Петрунька уже подвёл его к своему крыльцу. Крыльцо было хоть и висячее, но без гүльбища, угрюмое и нелюдимое: мол, или поднимайся и входи, или проваливай отсюда, а посиделок нам не надо, кедровыми скорлупками тут сорить...

– погоди, – велел Петрунька и упрыгал по ступенькам наверх.

Осташа был из раскольников часовенного толка, как и почти все на Чусовой, а Кумыш упрямо держался беспоповства. Осташа знал, что Колыван в Кумыше староста, в доме его каплица – тайная молельная горенка, а потому Осташе, часовеннику, в дом хода никак нет. Да не больно-то и хотелось. Осташа ждал и разглядывал под свесом кровли крыльца врезанную в повёрину чёрную иконку: апостол Пётр с бурым морщинистым лицом, белой бородой и растопыренными ушами – чтобы молитвы мимо не пролетели.

Проскрипела на истёртых пятках дверь, и по лестнице не торопясь спустился Колыван, за спиной которого семенил Петрунька. Колыван, не оглядываясь, дал ему затрещину, и Петрунька молча полетел обратно к речке, шлёпая по лужам. Колыван стоял и, не здороваясь, разглядывал Осташу.

– Вырос, – спокойно подвёл он итог.

Был Колыван невысокий, но кряжистый и плечистый. Лицо его, широкоскулое и широкоглазое, было понизу обведено густой, но подрезанной бородой с проседью. Смотрел Колыван всегда исподлобья, словно бы его уже обидели.

Осташа сразу ощутил, что перед ним – враг, ничем не прикрывающий свою враждебность, а потому холодный и собранный.

– Я тебе вот что хочу сказать, дядя Колыван, – так же спокойно и негромко заговорил Осташа. – Барку отцову я продал приказчику с кордона Кусьинского завода. Так что за разбой свой ты перед ним отвечать будешь. Мне от твоего разбоя ни убытка, ни унижения.

– А ты докажи, что с моих слов воровали.

– Это ты сам доказывай – приказчику. В Кусье слово Перехода уважают. Там ты напоганить ещё не успел.

– Поганил батя твой, вор. Придёт время, и в Кусье узнают, что веры слову Перехода больше нет, потому как Переход за корысть барку разбил.

– Удивляюсь я тебе. – Злоба медленно закипала в груди Осташа. – Ведь ты же правду знаешь. Знаешь, что и я её знаю. Зачем мне так говоришь? Никого ведь нет вокруг. Подвесил бы я решето на нитке – так оно от твоих слов крутилось бы, как колесо водобойное.

– А ты докажи свою правду.

– У тебя у сына всё «брешешь» да «брешешь», и у самого всё «докажи» да «докажи». У вас в Кумыше что, простой правды никогда не слыхали?

– Нету, сопляк, ни правды, ни брехни, если ты ещё не понял. Есть то, чему верят. А веру тому доказать надо.

– Бога и веру даже сам Мирон Галанин не доказал.

В расколе столицей стал тайный Авраамиев остров на Ирюмских болотах, где сидел бывший крестьянин, а ныне старец и правопреемник огнепального протопопа Мирон Галанин. Вокруг Галанина, как вокруг паука, раскинулась паутина древлеправославной веры – от Кондинских скитов на былых вогульских капищах и мёртвого Пустозёрска на Печоре до разорённых царёвыми полками яицких станиц. Керженец и Повенец, Иргиз и Ирюм держали древлеправославную Русь, словно рваный, прожжённый, пробитый пулями парус. Колыван Бугрин вместе со старцами тайных чусовских скитов дважды ходил к Мирону Галанину на Дальние Кармаки за благословением, за праведными книгами, за духовными письмами. Мирон Галанин был вероучитель, но не праведник, не святой и не апостол. Но для Колывана, как и для беспоповцев, слово Мирона было законом. А для часовенных – только поучением, которому можно и не последовать, если другие старцы перетолкуют.

– Ты отца Мирона не трожь, паскудник, – угрюмо предупредил Колыван. – Не вашему толку его понять. Меньше под никонианцев надо подстилаться.

– Дозвольте, батюшка, в дом пройти, – вдруг раздалось за спиной Осташи, и он вздрогнул. Это сзади неслышно подошла девка, сестра Петруньки.

Осташа оглянулся и шагнул в сторону. Девка стояла опустив глаза, держала в руках стопу помытых плошек. «Неждана», – вспомнил Осташа, как зовут дочь Колывана. Он видел Неждану только голенастой девчонкой и совсем не узнал её теперь.

– Ты почему без моего дозволения на реку идти посмела? – сквозь зубы спросил Колыван.

– Я думала, батюшка, вы совсем из дому ушли, до вечера не вернётесь, – девка отвечала покорно, но без робости.

Колыван молча ударил её по руке. Все плошки разлетелись, покатались по мосткам, поплыли по луже.

– Собери и вымой, теперь позволяю, – сказал Колыван.

Неждана нагнулась и принялась собирать посуду. Осташа нагло, напоказ Колывану, смотрел на девку, на её крутые бёдра и круглый зад, плотно обтянутый сарафаном. Борода зашевелилась на скулах Колывана, но Колыван молчал. Неждана выудила из лужи последнюю плошку, распрямилась и пошла обратно к реке. Взгляд её чёрных красивых глаз из-под низко повязанного платка полоснул по лицу Осташи.

Осташа не посмотрел вслед девке, но сощурился на Колывана, словно со знанием дела и бесстыдством намекнул: «Хороша!..»

– Ты всё сказал? – тихо спросил Колыван.

– Это ты ещё не всё сказал. Докажи мне, что батя мой корыстовался и честь сплавщика замарал.

– Бате твоему царь Петр Фёдорович казну доверил, а он её увёл...

– Ну, ты это Бакирке-пытарю спой, – перебил Осташа.

– Откуда тогда у твоего бати своя барка? С каких заработков?

– Да с тех же, что и у тебя. Только у бати твоей семьи не было – я да Макариха, которая необложна. Вот и скопил.

– Я десять лет коплю, да не скопил, а он за три года сумел? Пустое! Он помаленьку из царёвой казны таскал, чтоб незаметно было, – вот и натаскал на барку.

Колыван говорил верно: за три года, хоть всё откладывая, не собрать на барку. Откуда же батя взял деньги? Осташа не знал, не знал. Но он знал другое: что бы там ни было, батя

никогда бы и гроша не взял из царёвой казны. Ведь он сам же сказал: придёт Пётр Фёдорович снова и заберёт казну, и никто больше на неё права не имеет. Осташа верил батю. Батя не врал. Батя не вор. Но веру эту нечем было доказать.

– Коли он потихоньку таскал, зачем же этой весной барку убил и сбежал, как ты говоришь? И так никто его за руку не поймал, ему и без того хорошо было!

– А я тебе, дураку, скажу зачем. Знаешь, кого он в своей казёнке арестантом вёз?

– Знаю. Сашку Гусева вёз.

– Ну, молодец, коли выведал... – Колыван встряхнул головой, словно сбросил, как шапку, какую-то мысль. – Вот... Я тебе обскажу, как дело сделалось... Гусевы Петру Фёдоричу в Илеме крест целовали – это все знают. Потому Чика и передал им царёву казну. Сам же он казны не прятал – отдал Гусевым и уплыл из Кашки обратно. А Гусевы-то кабатчики были, с Чусовой не знакомы... Где казну спрятать? Вот они силком и потащили Перехода с собой.

Осташа обо всём этом и так догадался, но Колыван будто заученный заговор произносил – не мог начать с середины. Он даже попробовал взять Осташу за пуговицу, но Осташа отвёл его руку – Колыван и не заметил.

– Переход хитрее Гусевых оказался, всех четверых! Ночью зарезал дураков – и Чупрю, и Малафейку, и Яшку-Фармазона, только одного Сашку не дорезал, Сашка-то и сбежал! А Переход зарыл клад, и с концами дело! Сашка же побоялся объявиться – его ведь сразу скрутят и под стражу! Вот он и прятался по лесам, по пещерам, разбойничал, значит... Но зимой взял его караул. И Переход испугался, что Сашка под пыткой скажет, кто клад прятал, или объявит, где клад спрятан, если сам сумел о том догадаться!.. Я ведь нынешним сплавом с Переходом одним караваном бежал. И я видел в Ревде, как Переход деньги давал караулу, чтобы Сашку на его барку посадили. А дальше Переход барку разбил на Разбойнике, Сашку утопил в казёнке, а сам вроде как мёртвым стал считаться: за мертвяком розыск не учиняют! А потом можно брать клад – и дёру! Кто спохватится?

– Батя не таков! И барки батя не убивал! – крикнул Осташа.

– Если б не хотел барку убить, так не сунулся бы отуром Разбойник проходить!

– Он уже проходил Разбойник отуром! Я сам при том был! Можно так Разбойник пройти! Батю не повезло! Не было у него умысла барку убить!

– Один раз случайно можно пройти, дважды – нет! Не повторить такого, я тебе, щенку, как старый сплавщик говорю! Был умысел!

– Не было! Был бы жив батя, на том заряженное ружьё бы не испугался поцеловать – не выпалит, потому что нет на батю вины! Следующим сплавом я сам Разбойник отуром пройду! Пусть все увидят, что возможно такое, и не было у батю умысла барку убивать!

– Да кто тебе, поганцу, барку доверит?

– Найду – кто! Из-под земли достану! Сам рожу!

– Не найдёшь! Это я тебе обещаю!

– Ещё пообещай, что твой кобель под забором ногу задирать не станет! Найду барку! Чусовая рассудит, кто прав, а кто врал! Завидуешь ты батю! Батя ни одну барку за двадцать лет не разбил, а ты две разбил, и вторую-то по умыслу!

– Ты о чём это лаешь, пёс?.. – зверея, двинулся бородой вперёд Колыван.

– Задело? – осканился Осташа. – За Шайтан-боец тебя никто не винит, а на Горчаке ты барку убил по умыслу! Ты яковлевское железо вёз с Новой Утки, а Яковлев тогда только сел на Чусовую. Ему кровь из носу надо было втиснуться между Строгановыми и Демидовыми со своим железом! Он любые деньги готов был заплатить, чтобы железо поднять! Ты об Горчак барку и смазал бокарями, а потом своих же кумышских и нанял железо вытаскивать. Мастер ты сплавного дела, Колыван, слов нету! Так барку шваркнул, что только два порубня поменять надо было, даже огнив не поломал! Барку тебе за неделю починили, и с нею ты при своих остался, а на подъёме железа лапу погрел. Это ты на сплавном деле корыстовался! Чусовая

твою чёрную душу ещё в молодости твоей пометила, когда раздавила тебя об Шайтан! А батя чист был душой! Его Чусовая хранила! Батя тебе как бельмо на глазу был, как кость в горле! Он один у тебя славу лучшего сплавщика отбивал! Не стало бати – и ты имя его помоями окатил! Пчела у сатаны жало на людей просила, на себя выпросила! Я тебе, Колыван, не прошу за батю, ты помни! Ты представь, сколь у меня на душе накопело за твой поклёп? Хочешь – отплатчу? Нежданы не жаль? Ворота в холстину толщиной станут, когда весь дёготь отскоблишь!

Колыван без размаха ударил Осташу в бровь, но Осташа уже ждал такого удара, набывчив шею. Отшатнувшись, он поймал глазами Колывана, и его кулак врезался Колывану в скулу. Колыван кувыркнулся в грязь. Осташа подскочил и нагнулся, чтобы поднять его и ударить снова. Но Колыван нашарил в луже обломок тележной оси и снизу шарахнул Осташу по рёбрам. Осташа словно сломался пополам от яркой боли. Пока он распрямлялся, Колыван, гребанув ногами, уже встал, занёс дубину и хватил Осташу по левому плечу, отбив руку. Осташа, хрипя, кинулся к Колывану, но тот опять взмахнул осью и теперь попал Осташе по голове. Всё поплыло в глазах у Осташа. Он ещё пытался устоять на ногах, и тогда следующим ударом Колыван сшиб его на мостки. Бросив ось, Колыван ногами бил Осташе в грудь, в рёбра; шатаясь, целил и не попадал в лицо.

Когда Осташа уже перестал и вздрагивать, Колыван остановился, тяжело дыша, постоял, держась за перила крыльца, потом харкнул кровью Осташе на спину, отвернулся и стал медленно подниматься по ступенькам, хватаясь за стену.

...Осташа очнулся от тряски. Перекинув его руки через себя, его куда-то тащили Никешка Долматов и Петрунька. Ноги Осташа волоклись по мосткам. Осташа брыкнулся, и Никешка с Петрунькой остановились, привалили его к заплоту.

– Жив ли ты?.. – испуганно спрашивал Никешка, пытаясь заглянуть Осташе в лицо, перепачканное грязью и кровью.

– Пить дайте, – прохрипел Осташа, закрывая глаза.

Ноги Петруньки тотчас зашлёпали по лужам. Осташа медленно сполз по заплоту и сел, опираясь на доски спиной. Никешка бегал вокруг и квохтал, как курица. Осташа с трудом поднял руку, сунул палец в рот и провёл по зубам. Вроде все целы, только шатаются.

Оказывается, уже моросил дождик, холодил грудь и живот. Рубаха висела мокрыми клочьями. Осташа сунул ладонь за пазуху. Кошеля не было.

В разбитые губы сунулся ковшик. Осташа взял его обеими руками и выпил, проливая на грудь. Потом открыл глаза. Никешка сидел напротив на корточках, точно собака. Петрунька угрюмо стоял поодаль.

– Жалко батьку-то? – спросил его Осташа.

– Не жалко, – зло сказал Петрунька и шмыгнул носом.

– Когда-нибудь я его убью.

– Пойдем, Осташа, до меня, – попросил Никешка, будто был в чём-то виноват. – Помощь, отлежишься, маманя накормит, рубаху заштопает...

– Домой поплыву, – ответил Осташа и начал медленно подниматься, цепляясь за доски забора. – Нагостевался... Кто тебя позвал-то?

– Да вот он... – Никешка кивнул на Петруньку.

– Не провожайте, – сказал Осташа и фыркнул кровью из носа.

Он потащился вдоль забора к реке. Никешка и Петрунька робко шли позади. Осташа остановился передохнуть, оглянулся и погрозил им кулаком.

На берегу Кумыша, преодолевая дурноту, трясаясь от холода, Осташа возле своего шитика встал на колени и начал умываться. Бурая вода текла в рукава, за ворот. В голове всё раскисало, руки еле двигались, ломило в груди, ножом полосовало между рёбер. Осташа вытащил из лодки шест и, опираясь на него, поднялся во весь рост.

– Эй, сплавщик, – услышал он сзади и медленно, как мельничный жёрнов, оглянулся.

На берегу стояла Неждана, от дождя накинувшая на плечи шабур. Руками она придерживала его за отвороты. Теперь, когда Неждана не опускала лица, Осташа увидел, как она красива проклятой, Колывановой красотой.

– Ничего не забыл на берегу, сплавщик? – насмешливо спросила Неждана.

– А я ничего на берег и не брал, – глухо ответил Осташа.

Неждана подошла поближе, оглянувшись и, отпустив отвороты шабура, стала расстёгивать у горла рубаху. Глядя Осташе в глаза без стыда и страха, она сунула ладонь к телу, почти обнажив белую большую грудь, и вытащила грязный и мокрый кошель.

– Твоё? – спросила она.

– Кто нашёл, тот и хозяин...

– Тогда дарю, – просто сказала она и протянула кошель Осташе.

Осташа не брал. Неждана подержала кошель на весу, потом гибко наклонилась и положила его у ног Осташа.

– Приходи ещё, – просто сказала она, повернулась и пошла по дороге в деревню.

Осташа глядел ей вслед, но вместо благодарности испытывал лишь жгучую, палящую ненависть. «Видать, девку в грозу с серебра умывали – красивая... Снаильничая – будет знать Колыван», – зло подумал он.

ЛЮДИ ЛЕСА

– Я двадцать лет в себе гордость изживал, – как-то раз сказал Остахе батя, – да, видно, не изжил – все бесы в тебя пересели. А гордость – мать всякому греху, гибель души и тела.

«Почему двадцать лет?.. – думал Остаха. – Двадцать лет, которые на сплавах провёл?..»

Гордость и погнала Остаху из Кумыша на ночь глядя, избитого и голодного. Надо было у Никешки отлежаться. Но воротило с души при мысли остаться на глазах у тех, кто видел, как его охаживал Колыван. Припоминалось, что тогда стояли в сторонке две какие-то бабы с вёдрами, прикрыв от страха ладонями рты, и мужик какой-то пялился из ворот, скребя затылок под шапкой... Да и вообще: скорый отъезд – лучшая помощь от беды и от болезни.

Словно сшитый на живую нитку – вот-вот порвётся, – Остаха с трудом налегал на шест, толкал шитик вверх по реке, ничего не замечая вокруг. Уже в сумерках он прошёл деревню Чизму вдоль левого берега, чтоб никто не узнал его и не окликнул, и под тусклым, морозящим небом причалил на ночлег напротив бойца Большого Стрельного. Здесь на поляне стоял прошлогодний стог, загнивший от осенних дождей, а потому брошенный хозяином и раздёрганный за зиму зайцами, косулями и лосями. Остаха, обессиленный, и огня зажигать не стал. Залез в тёплую, преющую гущу сена и заснул.

Наутро он понял, что к побоям впридачу ещё и подхватил простуду. Тело стало непослушным, словно раздутым, вялым и горячим, будто у варёного утёпленника. Шея не держала головы, в глазах мерцало, клубился по краям зрения какой-то багровый туман. Надо было сплыть в Чизму, к людям. Но Остаха, ничего не соображая, упрямо залез в лодку и погнал её дальше. Он тупо бил в дно шестом, не здоровался со встречными плотогонами, не отвечал на оклики с берега. Он и не видел уже никого – только нос шитика, вспахивающий кроваво-красную, ослепительную волну.

Остаха и не помнил, сколько сумел пройти в тот день. Очнулся он совсем нагим, лежащим на широкой лавке в низкой избе с земляным полом. В избе было темно и жарко. Пахло сушёными травами и раскалёнными камнями чувала.

– Сорумпатунгкве? – донёсся до Остахи девичий голос.

Остаха понял, что это по-вогульски спрашивают у кого-то, умрёт он или нет? Ответа он не расслышал.

Его обкладывали мешочками с горячим песком, натирали мазями, поили каким-то снадобьем.

– Эри исылтангкве алпи аги, – сказал голос старика. – Мот сирыл сорумпатунгкве. Шакула вангкве.

«Шакулá... старик-вогул из Ёквы... – вспомнил Остаха. – Вот я где... Как я сюда попал за тридцать вёрст?.. Лечит меня, что ли, знахарь?..»

И вдруг Остаха почувствовал, что на него легла голая девка. Она была, наверное, лёгкой, как лукошко с ягодами, но сейчас показалась тяжёлой, как чугунная пушка. Тело её было раскалённым, тугим и гладким. Девка обвила Остаху руками и ногами. Волосы её упали на его лицо. Её твёрдые, как камешки, соски упёрлись в его грудь. Остаха, раздавленный непосильной ношей, хотел закричать, заругаться, но дыхания не хватило, и он только захрипел. А тело девки словно бы начало легчать, остывать, впитывать Осташин жар, от которого уже высохли глаза и спеклись мозги. Девка, словно измучившись, сползла Остахе под бок, обнимая его по-прежнему, и точно благодать снизошла на Остаху. Он собрал волю и дрожащей рукой прижал девку к себе, ощущая, как Шакула накрывает их шкурой и подтыкает её по краям. А потом сладкое забытьё слизало все мысли, как волна слизывает следы с приплёска.

Осташа проснулся только наутро. На лавке под шкурой он лежал один. Была ли вчерашняя девка, или померещилось в бреду?.. Осташа чувствовал себя очень слабым, но уже не больным.

Из щелей неряшливой берестяной кровли торчали спицы солнечного света. Осташа сел на лавке, спустил босые ноги. Избушка была загромождена всяким хламом и дребеденью: коробами и туесами, ворохами шкур и тряпья, хворостом, треснувшими корчагами – чёрт-те чем. Понятно было, что вогулы здесь не жили: держали дом для русских гостей и хранили ненужный скarb.

Портов и рубахи Осташа не нашёл, а потому завернулся в шкуру и, хватаясь за стены, побрёл к выходу, откинул полог и выбрался во двор.

Вогульская деревня Ёква десятком низких домишек и десятком чумов расползлась по берегу Чусовой в излучине. Над берестяными крышами высоко возносились тонкие мачтовые сосны. Косматое солнце слепило сквозь их ветхую хвою. Вдали по правую руку вставляли над лесами три красноватых чела Собачьих Камней, словно старые небелёные печи. Огненно рябила речушка Ёква, бежавшая сквозь деревню и падавшая в Чусовую. Ярко зеленела свежая трава на берегах, на склоне Собачьих Камней.

Вогулы переняли у русских привычку огораживать дворы, но как это делать и зачем – не вникали. Двор Шакулы был охвачен шаткой изгородью: старик вогул натыкал так и сяк палок, прутьев, обломков жердей, перевил их двумя-тремя лещинами и тем был доволен. В ограде стоял и чум Шакулы, где старик жил, пока не донимали морозы. Повсюду на дворе валялись рванные полотна и закрученные полосы бересты, куски сосновой коры, ломаный сушняк для очага, угли, кости, щепки, глиняные черепки. К низким стенам были привалены связки тальника, длинные шесты, высокие долблёные ступы с круглыми пробками в дырах от сучков. На концах стропил висели мотки лыковых и берёзовых верёвок и неразобранные упряжи. На крыше лежали вверх полозьями нарты; на сушилах и на ограде были растянуты сети с белыми пряжами невыпутанных водорослей и гроздьями деревянных кибасёв. Шакула разметал своё немудрящее хозяйство по двору, не боясь воровства.

Он сидел на корточках и плёл из прутьев большой круглый вёntерь рыбакам на продажу. Осташа, сначала опершись рукой, тоже опустился на колоду. На колоде Шакула, видно, рубил мясо: она была измочалена топором и пропитана кровью до черноты.

– Здорово, Шакула, – сказал Осташа. – Как поживаешь?

– Живу, – кивнул старик.

– На что это у тебя домовой осерчал и всё добро разбросал? Только посуду в помойный ушат не сунул. Была бы лошадь – и та лежала бы в яслях вверх ногами... Ты бы хоть раз в год вокруг избы подмёл.

– Это коту делать нечего, вот он яйца и лижет, – хихикнул Шакула.

– Ну и как я к тебе попал? – помолчав, спросил Осташа.

Шакула искоса глянул из-под бровей.

– А сродник мой, Копчик, решил лося добыть, просил меня с ним вместе мёнгквaм поклониться – на удачу. Я пришёл к Копчику. Поймал я курицу лесную, поднялись мы на Дунину гору к лиственню священному, глядим оттуда: в кустах в вóложке, что за островом возле устья Сылвицы, каюк русский стоит, а в каюке вроде мертвец. Пошли тогда к каюку. В каюке ты лежал, без памяти. При тебе деньги мешок, ружьё. Копчик сказал: твоя курица – значит, тебе мёнгквы и добычу дали, а мне – лось будет. Я твой каюк сюда и пригнал. Думал, ты поmrёшь дорóгой, всё мне отдашь, а ты не помер. Бойтэ говорит мне: красивый парень, попробую лечить, помоги. Я помог.

Осташа хмыкнул, слегка оскорблённый расчётом Шакулы.

– Коль я не помер, отдавай ружьё и деньги мешок. И порты с рубахой тоже. И сапоги.

– Всё под лежанкой у тебя. Я ведь старый, не хочу, чтобы мне мстили. Я говорил Бойтэ: почто его лечить? Вижу, и так его Ханглавит заберёт.

– Какой ещё Ханглавит? – буркнул Осташа.

Шакула на вентере довёл ряд до конца и принялся за новый.

– Чусва по-вашему. Пермяки Чусвой зовут, рекой теснин. А по-нашему – Ханглавит, быстрая вода. Чусва тебя всё равно заберёт, я вижу. Ты в земле не будешь спать, налимь тебя съедят.

– Тьфу на тебя, – в сердцах сказал Осташа, напуганный словами Шакулы. – Тоже мне, пророк выискался... Чёрт бы тебя осётовал.

Шакула пожал плечами и промолчал. Осташа слышал байки, как однажды Шакула сплавщику Никите Паклину из Старой Шайтанки предсказал, что тот утонет, – так и случилось. Пророчества Шакулы на смерть были так же верны, как встреча со святым Трифоном Вятским, собирающим души утонувших бурлаков.

– А когда, пророчишь, утону? – хмуро спросил Осташа.

– Не скоро, – ответил старик, глянул на Осташу и улыбнулся.

Осташа с облегчением улыбнулся в ответ.

– Что для сплавщика погибель на сплаве? – сказал он. – Бывает. Бог спасёт, а как срок придёт – все помрём. Ты мне дай чего-нибудь поесть, а то до срока околею.

– Я тебе у лежанки туёс с молоком поставил, почему не смотрел?

Кряхтя, Осташа встал и поплёлся обратно в дом. Нашёл под лежанкой свою одежду, оделся и обулся, проверил штуцер и кошель, взял туес и выбрался обратно во двор.

– А как же ты, Шакула, в лодку-то мою залез? – оттирая молочные усы, спросил Осташа. – Ты, говорят, плавать-то боишься. Даже на левом берегу никогда не бывал.

– Я и не залезал в твой каюк, на верёвке его ташил. Долго ташил, два дня. А плавать я не боюсь и на левый берег по льду пройти могу, вот. Только у нас старики говорили: кто чем живёт, тот тем и ходит. Я лесом живу, что он даст – то ем, тем пользуюсь, лишнее продаю. Лесом и хожу. На что мне река? Это не моя дорога. Это ваша дорога, русских, что без ума и страха.

Шакула был ясным воголом и вправду жил лесом: бил зверя, ставил силки, собирал грибы, ягоды и травы, брал дикий мёд и живицу, обколачивал кедры, драл лыко... А ещё Шакула понемногу курил смолу и гнал дёготь, плёл вентери, корзины и морды, вертел клячем витвины – верёвки из гибких виц, резал из сучков клевцы на бороны, гнул пёстери, туеса и коробки, мастерил из бересты обувь – вёрзни, бахоры и бредовики, строгал всякий мелкий щепной товар – ложки и кочедыки, бутылки и калганы. Да много чего делал Шакула, даже берёзовым соком торговал.

– Почему это русские без ума и страха? – обиделся Осташа.

– Потому что глупые. От страха люди умные делаются, а разве вы умные? Чего натворили-то? Глазам смотреть горько!

– А чего мы натворили? – удивился Осташа.

– Прошлой весной у нас половину павыла водой снесло. Эту весну на Собачьих Камнях сидели, да обошлось. Как вы, русские, начали тут хозяйничать, сбесился Ханглавит. Каждую весну по лугам, по лесам течёт, кричит, как медведь, скалы грызёт, деревья рвёт. Старики такого не помнили прежде. На кого Ханглавит злится? На вас. Вы его дразните, беды не чуж.

Осташа пренебрежительно рассмеялся.

– Это, дед, только воду на прудах спускают для сплава. Ничего с твоим Ханглавитом не сделали, жив-здоров он. А пруды для заводов нужны, чтобы железо плавил да ковали.

– Куда вам столько железа? – Шакула даже отодвинул вентерь, требовательно глядя Осташе в глаза. – Куда, скажи? Сколько человеку ножей, наконечников, пуль, топоров надо?

Сто! Больше не надо во всю жизнь! А вы лодки гоните, каждая как пять моих домов, и лодок тех сосчитать нельзя! И так всякую весну! Беда!

Осташа только махнул рукой на вогула, снова прикладываясь к туесу. Старику не понять было горного дела.

– Это всё Ермак ваш, – убеждённо сказал Шакула, вновь принимаясь за вентерь. – Старики рассказывали, что он велел болбанов наших рушить. Ладно, не нравится тебе бог, плохой, – так убей его, прогони, обругай, не корми, сожги идола. А Ермак говорил – кидай в воду! Вот всех и поскидали в Ханглавит. Почти все наши боги и попали в реку. Это лесные-то боги! Чего им там делать? Они же в реке ничего не умеют! Драться начали, грызться, пучат реку по весне, гонят! А которые боги смогли – те на берег поползли, да здесь и окаменели. Стоят теперь скалами, в злобе бьют ваши каюки, топят вас. Так вам и надо.

– Что ж, до русских на Чусовой и не было скал, что ли?

– Конечно не было. От вас скалы начались.

– А чего ж пермяки Чусовую рекой теснин прозвали?

Шакула задумчиво посмотрел на Осташу, потом на реку за соснами, но, видно, ответа не нашёл.

– От вас скалы начались, – повторил он. – Богов наших Ермак в реку прогнал, от них и скалы. А в лесу плохие боги остались, мелкие, слабые, глупые. Вон посмотри на моих ургала́нов... – Шакула кивнул на резные чурки, что в ряд были приставлены к стене дома в крапиве за углом. Такие чурки, идолки, в которых вселялись боги, у Шакулы назывались «ургала́ны». – Весной я всех богов кормил, и салом мазал, и кровью поил, грел у огня. Думал, хорошая будет охота. А боги-то плохие, никудышные. Побежал я за лосем – ушёл от меня лось. Побежал за оленем – и олень ушёл! Хотел кабана взять – кабан меня чуть не разорвал, целый день я на берёзе сидел. Не-ет, плохие боги. Раньше хорошие были, да Ермак всех утопил. Плохо вогулам.

Осташа рассмеялся.

– Я тебе, старче, денег дам, что ты спас меня, – заверил он. – Не надо тебе будет за кабанами на старости лет бегать.

– Ты не мне, ты Бойтэ дай, – возразил Шакула. – Она ж твою болезнь забрала. Я только каюк привёл, это ничего не стоит. Всё равно домой шёл.

– Значит, это она меня лечила?

– А кто же ещё? Разве ты мог подумать, что это был я? – и Шакула затрясся в мелких смешках, сузив глаза.

Осташа вспомнил сладостно-стыдное ощущение нагого девичьего тела рядом с собой и ухмыльнулся.

– А как она меня вылечила? Нашаманила, что ли?

– Откуда же мне знать? Ты у неё спроси.

Осташа в тревоге ощупал волосы, посмотрел на отросшие ногти – нет, ничего не срезано. А то ведьма срежет чего с тела и по той части человека сглазить сможет. Но если лечит – то засовывает срезанные части в дырку в осине, а потом читает заговоры, и все волосатики из больных членов за отрезанными частями бегут, а ведьма их в дырке глиной замажет-закупорит. Ежели Осташа не из-за волосатиков болел, а в беспамятстве на него тряса́вица напала, то другое дело. У сатаны на привязи девять сестёр-лихорадок; он их иной раз спускает полетать. Когда лихорадка человека в губы поцелует – на него тряса́вица потом и нападёт, взревнует. Спаситься можно, если рожу сажей вымажешь: тряса́вица придёт трясти – и не узнает. Осташа и лицо потёр ладонями – нет, чистое.

– Она ведьма, дочь-то твоя? – успокоившись, на всякий случай всё же спросил Осташа.

– Не-ет, какая там ведьма, глупая совсем. – Шакула покачал головой. – И не дочь мне она. Я её у настоящей ведьмы отнял.

– Это как? – заинтересовался Осташа.

– Давно уже, десять зим назад. Я ведь из мангквла самынпатум – совиного рода. Наш род, пока был он, у Совиной горы жил, Мангквлаур по-нашему, а по-вашему – гора Подпóра. Я тамошние места хорошо знал. Там на Синем болоте, что среди гор висит, жила ведьма, которая яд варила. А у нас на Ёкве завелась росомаха, тулмах, всё драла, одна беда с ней. Ни стрелы, ни ловушки не помогали. Умная была, башка большая, как у тебя. Я решил приманку ей ядовитую бросить, отравить. Думаю: может, ведьма та ещё жива? Яду даст. Пошёл. Пришёл на Синее болото. Домик маленький, ведьма на полу спит. А в болоте торчит бочка, и в бочке будто скребётся кто-то и голосом человеческим плачет. Я взял да и достал бочку. А в бочке девочка, ей лет семь было. Сидит голая, связанная. У бочки все стенки дырявые. Понятно мне стало: в дырки гадюки наползут и девочку съедят, а обратно, толстые, не вылезут сквозь дырки-то. Только головы выставят и шипеть будут. Ведьма их клещами за головы вытащит и будет в горшке на огне варить. То, что получится, – яд. Я в горшок посмотрел, который в углях стоял, – там ещё на дне яду осталось с прошлого раза. Значит, ведьма кого-то уже скормила гадюкам. Она детей воровала. Я надел рукавицы, поднял горшок да ведьме на рожу и вылил. Она завывала и околела. Только на ногу себе капнул – дырку прожёт насквозь. Сейчас покажу тебе дырку...

Шакула отложил вентерь и взялся было за кожаный чулок на ноге, но Осташа замахал руками:

– Не надо мне твоей дырки!.. Тьфу, что за дрянь!..

– Ну, как хочешь, – немного даже огорчился Шакула. – Дырка большая, хорошая... Ладно, ладно, не покажу. А девочку я себе взял. Будет вместо дочки, решил. Жены-то мне не досталось. Когда молодой был, всех девок наших русские забирали. Хотели, видно, чтоб совсем мы кончились. Я думал, девчонка вырастет, мне внуков народит, учить стану... Ваш Пугач бешеный всю мою старость отравил хуже той ведьмы с Синего болота... Горе.

Шакула замолчал, глядя в землю, потом легко вздохнул и снова взялся за вентерь. Осташа знал, что за беду принёс вогулу Пугач. Вся Чусовая знала о той беде, и многие мужики ею пользовались. Осташа снова ухмыльнулся, но уже недобро. Шакула этого не видел.

– А где же Бойтэ прячется-то? – спросил Осташа, оглядываясь.

– Она не прячется. В чуме лежит. Она ж твоей болезнью болеет. Может, умрёт.

– И не жалко тебе её? – удивился Осташа.

– Как не жалко? – Шакула пожал плечами. – Жалко. Привык я, полюбил. Да что сделаю-то? Лечить не умею, а она на себя колдовать не может. Вот, жду, что будет, с тобой говорю.

– Пойдём, хоть глянем на неё, – предложил Осташа.

– Ну, пойдём.

Шакула встал и, слегка прихрамывая, повёл Осташу к чуму. В чуме был полумрак, только из прорехи дымохода на стенку из оленьей шкуры падал столб света. Почти у стены на камнях курились угли прогоревшего костра. Было дымно и жарко. На земле валялась разворошённая гора лапника, а на лапнике, раскидав руки и ноги, отвернувшись, лежала в беспмятстве Бойтэ. Она была почти нагой, от пота мокрой и блестящей. Мокрые волосы облепили голову и плечи, мокрая чёрная тряпка плотно обвивала бёдра.

– Привязал её, чтобы на угли не скатилась, – пояснил Шакула, кивая на вбитый у входа колышек. От колышка тянулся ремень, накрученный на Бойтэ поперёк живота.

Осташа стоял и жадно смотрел на голую, ничего не понимавшую девку-вогулку, которая заживо жарилась в огне его простуды. Ему немного жаль было её – наверное, куда меньше, чем Шакуле, – но жалость лизала душу где-то с самого края. Под ложечкой горячо запекло от другой мысли: вот девка, даже без рубахи, доступная, в забытии, а значит, безответная, покорная, которая после и не вспомнит обиды... Да и вообще, обижается ли она?..

Но мысль эта была какая-то поганая, давила горло, словно сухой кус. Стыдно было бы бате признаться в такой мысли. Да что там бате – Никешке и то стыдно.

«Ладно, можно всё, да не всегда», – подумал Осташа.

– Я поживу у тебя, Шакула, – сказал он вогулу. – За постой заплачу. Подожду, пока девка твоя оклемаётся. Всё ж таки жизнь мне спасла, наверное.

ЖЛУДОВКА

– Эй, парень, жлудовка-то где здесь живёт?

На прибрежной отмели встал шитик с четырьмя молодыми подвыпившими мужиками: по замашкам – мастеровые, а по рванью – демидовские. Тот, что спрашивал, явно прятал за нахальством смущение. Он глядел на Осташу весело, залихватски и чуть заискивающе: мол, ты же тоже мужик, всё понимаешь...

Осташа, стоя по колено в воде, сматывал на палку бредень, сразу расправлял ячеи и выбирал из них всякий мусор и траву. Он исподлобья глянул на заводского.

– Нету её, – ответил он.

– А куда делась-то? – Мастеровой понизил голос, хитро подсказывая ответ: – Занята?..

– Умерла она весной.

Мужики в шитике замолчали, спяну неповоротливо соображая, что же делать. Тот, что спрашивал, убрал улыбку, хмуро и оценивающе поглядел на Осташу, на багор, что торчал из Осташиней лодки, лежащей под обрывчиком берега на песьяне, и оглянулся на своих:

– Н-ну, ладно... Погребли, ребята, обратно. Теперь будет на что у Петровича второе ведро купить.

Шитик сполз с отмели, неуклюже развернулся на реке, сплывя почти до Собачьего камня, и пополз к порожней, а потому высокой барке, что на якоре стояла у левого берега напротив устья Ёквы. Барку, видно, сплавляли от плотбища на Илимской пристани к казённым причалам Ослянки, где в только что опустевшие амбары уже привезли новые полосы откованного в Кушве железа.

Бойтэ, сидя на корточках, шуршала дресвой по стенкам котла неподалёку от Осташы, отскребала жáгру. При словах о смерти жлудовки тонкие руки её даже не дрогнули: двигались всё так же мерно, как жерди-шатуны, которые от зубчаток водобойных колёс над вешняками прудов качали рамы с полотнищами пил на лесопильных мельницах под плотинами.

Осташа угрюмо молчал, сматывая бредень, и тогда Бойтэ спросила:

– Почто меня мёртвой назвал?

– Живая же, – буркнул Осташа. – Ничего тебе не сделается.

– Словом колдуют, не кобьями.

– Крестись, и кобенить не будет, – зло сказал Осташа, вышел из воды, бросил свёрнутый бредень на дно шитика и сел передохнуть на ступеньку лестницы. Лесенку из берёзовых жердей сколотил Шакула и спустил с обрыва на приплёсок, чтобы ходить к воде прямо со своего двора, а не тащиться к дальней деревенской дорожке.

Под горячим ветром над берегом чуть качались дырявые космы высоких сосен. Огни прыгали по Чусовой, в огнях ныряли чайки. На гребнях скалы в ряд стояли тонкие и острые ёлки, как свечки вдоль иконостаса неба.

Бойтэ сполоснула котёл, распрямилась, держа его за ухо, и направилась к лесенке. Осташа дорогу не уступил.

Бойтэ остановилась, не глядя ему в глаза, помолчала.

– Чего тебе надо? – тихо спросила она. – Почему домой не едешь, здесь живёшь, на меня смотришь?

– Любуюсь, – с вызовом ответил Осташа, не отводя взгляда.

– Зачем меня деньги лишил? – будто не услышав, Бойтэ кивнула в сторону барки, стоявшей у противоположного берега.

– Я даже яичками пасхальными не делюсь. А деньгу за себя Шакуле уже отдал. Большую. Больше ихней.

Бойтэ наконец подняла глаза и с какой-то прощающей жалостью глянула в глаза Остахе. Лицо у неё было смуглое, кошачье, треугольное, глаза – жёлто-зелёные, словно осенние, а пышные, неприбранные волосы – совсем светлые, как седые.

– Красивый ты, хороший, – сказала она. – Не буду я для тебя.

– Силой возьму, – охрипнув, предупредил Остаха.

В лесных глазах Бойтэ мелькнула давно отгоревшая боль, словно за праздничной листвою бабьего лета качнулась чёрная, уже облетевшая ветка. Грустно улыбнувшись бледными, нецелованными губами, Бойтэ котлом спихнула Остаху со ступеньки и прошла наверх. Лесенка даже не скрипнула под её лёгкими ногами, только подол рубахи с запахом сена и девичьего тела обмахнул Остаху по лицу.

Всё вроде бы Остахе про себя было понятно. Колыван в душу плюнул, Неждана Колыванова по сердцу царапнула, а тут и девка подвернулась блудная. Сорвать бы злость – и домой. Но пока ждал, чтобы Бойтэ от болезни оправилась, слишком уж сильно засматривался на неё, и злость куда-то пропала. Остаха знал про себя, что злопамятный, а вот пропала злость, не вспоминалась. И как-то жалко было эту девку – даже стыдно за себя. Не поднималась на неё рука. А чтоб за плату, как со всеми, – она, видишь, не согласна. Тьфу, досада.

Жлудовкой Бойтэ, понятно, не родилась. Жила, найденная и пригретая Шакулой, как все. Ей было тринадцать лет, когда по льдам Чусовой покатилося вниз кровавое половодье пугачёвщины. Вору только до Кашки дошли, где пировали и лютовали вместе с дядьями Остахиными, братьями Гусевыми. А кто уж придумал от Кашки за десять вёрст до Ёквы прокатиться, Остаха не знал. Может, и Гусевы, чтоб их в пекло за ребро волокли. Только эти гулёбчики полтора дня в избе насильничали девчонку-вогулку. Разворотили её, как быки – калитку. Девчонка-то выжила, только душу, видать, ей измолотили хуже, чем сноп цепями. И детей у неё уже быть не могло, а потому грех сокрытым мог остаться. Вот потихоньку-помаленьку всякий пропащий люд, что на сплавах по Чусовой с караванами бежал, и приучил вогулку грехом деньги добывать. И прозвали её жлудовкой. Хоть и жалели, но брезговали за человека считать.

Батя как-то говорил, что за общий людской грех под святым именем царским пришёл наказанием на Чусовую Пугач-антихрист, соблазнивший и обольстивший немало безвинного народу. И каждый из тех, кто выжил, за этот грех ответит, хоть и сам не грешил. По греху и Бойтэ Остахе близкой была: она честью расплатилась, и Остаха от поклёпа колывановского – тоже честью. Может, это Остаху и зацепило в Ёкве?

Хотя, наверное, вряд ли. Плевал Остаха на все эти стариковские рассуждения. Грехи не оплакивать, а исправлять надо. В скитах – молитвой, а на сплаве – делом. Так батя учил. Пёс его знает, что Остаху при жлудовке держало.

«Всё равно возьму своё, и тогда домой поеду», – решил он.

Он караулил девчонку, не решаясь завалить её в чуме или в доме. Не то чтобы Шакула его смущал, нет – он же заплатит, чего тогда смущаться? Прочие жители деревни его не беспокоили – всё равно жлудовка не станет орать и звать на помощь. Заминка была в том, что до сих пор Остаха баб ещё не пробовал. Дружки его уже отметились, тот же Никешка, к примеру. А вот Остахе случай не подвернулся. По рассказам парней постарше Остаха всё знал. Тот же Никешка, у которого женатые братья долго жили в отцовом доме ещё не отделённые, чего только не растрепал, подглядывая по ночам. Да и в Кашке на игрищах Остаха достаточно погонялся за девками, задирая для смеху подолы. Но вот главного пока не случилось. И дело такое по первости надо было сделать подальше от чужих глаз и ушей – мало ли какой позор выйдет.

...Третьим утром Бойтэ собралась в лес – то, что надо. Она уже ушла, а Остаха всё решал, брать ему шуцер с собой или нет. На медведя можно напороться. Окрестные дивьи леса считались божелесьем – были отписаны от казны вогулам. Порубок здесь не велось, а потому и зверь уцелел невыбитый. Остаха побаивался, не засмеётся ли Бойтэ: мол, ружжо-

то взял меня уговаривать, да? Одними руками не справишься с девкой? Но Осташа в конце концов плюнул на свои опасения, забросил за спину тяжёлый штуцер и побежал по тропке вдоль Ёквы вслед за вогулкой.

Во всей этой кутерьме с простудой он, оказывается, проглядел весну, вскипевшую зелёной пеной, – словно молоко, убежавшее из горшка, прокараулил. Маленькая, узкая Ёква шустро струилась сквозь урёму, юлила на луговинах, подныривала под копны зелёных кустов или вдруг замирала тихим омутом, боязливо скосившим глаза на небо. А солнце словно нарвали на ключья и весело расшвыряли по лесу, и в солнечных пятнах свистели и тилиликали пичуги. Высокие и заросшие горы, от тепла сытые, как послеобеденный вздох, подымались и справа, и слева, будто ладонями подгребаля урёму к речке. В небе качались вершины сосен, а над ними, как гуси, растянули белые, слепящие крылья редкие облака.

Осташа шагал по узкой тропке в вогульском лесу, но ему совсем не было страшно. Заблудиться он не заблудится. Речка рядом – главная примета. Да и вообще, батя говорил, что у настоящего сплавщика глаз должен быть таким зорким и цепким, что в лесу заблудиться – стыд. А медведя, коли тот пожалует, он укокошит, если что. Осташа не верил в страшилки, что медведь подкрадывается незаметно, что коня обгоняет, что со склона кувырком скатывается. Медведь – он неуклюжий, глупый, малину жрёт, грибы сырые. Башка как помойное ведро. Осташа вспоминал, как в детстве он с прочей ребятнёй ходил по весне за саранками. Искали сухие, ломкие дудки, рыли мокрую землю, набивали пазухи сладкими луковками, и непременно, рано или поздно, раздавался вопль: «Медведь!..» Огольцы россыпью мчались со склона в деревню, визжали и падали, вываливали добычу. А Осташа, похолодев от страха, всё-таки оставался на месте, прижимаясь к какому-нибудь упавшему стволу, выжидал, потом осматривался, а потом собирал потерянные приятелями луковки и возвращался в деревню последним – гордым и с самым большим урожаем. Вот и весь «медведь!..»

Страшнее, что рядом не просто речка, как родная весёлая Кашка, а священная вогульская река – Ёква, которая течёт с горы Высокой Ёквы, а «Ёква» значит «Святая Мать». Так вогулы свои молебные горы называют. И здесь кругом в лесу от нечисти мленье, а на горе – кумирня, вокруг неё тын с черепами. За тыном стоят чёрные идолы, амбарчики на курьих ножках, в которых лежат деревянные мертвецы с красными, накрашенными ртами. Ну и пусть себе лежат. Осташа их не потревожит. Не боится же их некрещёная вогульская девчонка... Осташа споткнулся, будто ему оборотень под ноги кинулся. А где девчонка-то?

Осташа завертелся на месте. Впереди за листвой зеленел лужок, и Бойтэ на нём не было. Идти так быстро, чтобы скрыться в дальнем лесу, Бойтэ не могла. Только что Осташа видел, как мелькнула за деревьями её светлая неподпоясанная рубашка. И вдруг он услышал позади себя лёгкий звук шагов.

Он тотчас юркнул за куст, цепляясь дулом штуцера, и повалился на землю. В просветах между корней Осташа увидел босые ноги, прошлёпавшие по тропинке. За кустом раздался тихий смешок, будто девчонка потешалась над тем, как она запутала парня.

Осташа проворно переполз чуть подальше, к опушке, и увидел Бойтэ, идущую по лугу. Бойтэ была совсем голая, как напоказ. Она волокла рубашку по яичной накипи мать-и-мачехи. В другой руке она несла узелок. Светлые волосы разметались по плечам, по спине с натянутой тетивой позвоночника, пушились вокруг головы. У Осташа перехватило в горле и затяжелело под ложечкой, когда он увидел тело Бойтэ – не безвольное в болезни, а живое, движущееся, упругое. Если Бойтэ догадалась, что Осташа за ней следит, то дразнила его, искушала, когда нагло вышла голой на луг. И для Осташа не только в этой вызывающей наготы, но и в походке, в осанке, в каждом движении вогулки вдруг оказалось столько призыва, обещания, запретной сладости, что взмокла рубаха под мышками. Хотя Бойтэ вовсе не была ядрёной девкой, каким вслед от восхищения цокали языком кашкинские парни. Наоборот, была она худенькой, как мальчишка, и круглый задок только чуть-чуть раздавался ниже узкого перехвата пояса.

А шла Бойтэ, оказывается, не по лугу, а по старому рудничному двору с проплешинами от кострищ, на которых обжигали руду. Земля была взгорблена разъехавшимися земляными кучами, что уже сплошь затянулись травой. На склоне горы чернела дыра копани, с двух сторон ограниченная толстыми замшелыми стойками крэпи. На стойках сверху лежала просевшая деревянная балка. Заросший можжевельником склон горы толстой складкой набряк над жерлом копани, будто гора нахмурила чело. Земляные стены штольни оплыли, проросли. Только ручеёк, вытекавший из рудника, проточил себе светлое песчаное русло через весь двор к тёмному зеркалу маленького пруда, что потихоньку прососал ветхую плотину и журчащими языками свесился в русло Ёквы. Ёквинский рудник, как слышал Осташа, забросили лет тридцать назад. Говорят, вогулы его заколдовали: вместо руды посыпалась обманка, а четверо рудокопов так и не вернулись из горы – просто ушли в штольню и не вышли, и обвала никакого не было.

Как поганый гриб на могучем пне срубленного кедра, на окраине рудничного двора, на дальней опушке торчал вогульский идолок высотой всего-то по пояс человеку. У него был раззявленный трухлявый рот и зелёная шапка мха на голове. Бойтэ подошла к идолку, присела на корточки, забормотала что-то, оглаживая идола по разохшимся щекам, потом сунула ему в рот руку и вытащила нож и горсть монет. Зажав монеты в кулаке, она распрямилась, постояла и вдруг с яростью швырнула деньги в сторону штольни. Осташа увидел только, как мелькнула белая рука, по кругу мотнулись светлые волосы вокруг плеч, да зашаталась длинная трава над мелким ручьём. По движению локтей Осташа понял, что Бойтэ царапает себе лицо, горло, грудь, но ни всхлипа до Осташи не донеслось. А потом правый локоть Бойтэ опустился, дёрнулся назад, нож упал к ногам, и Бойтэ, застонав, склонилась над идолком, держась руками за его моховую макушку.

«Брюхо, что ли, она себе распорола?..» – потрясённо подумал Осташа, приподнимаясь. Сзади он видел, как по ляжкам Бойтэ потекли красные струйки. Но девка снова присела, как-то стыдно и безобразно раздвинула колени и начала тереться животом о рожу идола. Потом она вдруг оттолкнулась от него и задом шлёпнулась в траву. Края трухлявого рта у идола были свежечёрные, мокрые от крови.

А Бойтэ уже развязывала свой узелок и вытаскивала небольшую резную чурку, грубую куклу. Осташа видел такие чурки у Шакулы. Шакула говорил, что это «ургаланы» – малые идолки, хранители душ. Надо на охоту бога позвать – не переть же с собой большого идола: посадил бога в ургалана, и хорошо. Надо предка покормить – в ургалана его приглашаешь и кормишь. Этих ургаланов у Шакулы был целый короб. Он их и с собой брал, и бил, и советовался с ними. И теперь Бойтэ шептала что-то ургалану, тёрла его о живот, обмазывая кровью, а потом вдруг бросила на землю, прижала рукой и начала тыкать ножом – резать лицо, ковырять глаза. Единым махом вскочив на ноги – Осташа у девки, как у кошки, и рывка не заметил, – Бойтэ побежала к пруду и кинулась в воду.

И пруд словно захлестало десятком веников – столько брызг, солнца и плеска вмиг на нём разбушевалось. Бойтэ металась в воде – не уследишь. А потом, успокоившись, медленно вышла на берег. Ургалана с ней уже не было. Потемневшие, мокрые волосы сплошь облепили голову и плечи, как платок. Капли, сияя, ползли по телу, словно Бойтэ обсыпали звёздами. Осташа удивился: у Бойтэ, узенькой и тонкой, как лодочка, были неожиданно бабьи, круглые, как пушечные ядра, груди. Поперёк живота протянулся свежий красный порез.

Словно устав, ссутулившись, Бойтэ вернулась к идолу, не глядя провела ладошкой по его затылку, зашла идолу за спину, отодвинула густую ветку черёмухи на опушке и скрылась за ней. Осташа лежал, поражённый всем, что увидел. Бойтэ не появлялась. Осташа уж и не знал, хочет он теперь девку или нет. Не на то он рассчитывал, увязавшись ей вслед. Думал – у неё лесные дела всякие, травы собирать идёт, мало ли чего... Осташа бессмысленным взглядом смотрел на идола и вдруг вспомнил, как Бойтэ сидела перед ним на корточках, как сросшейся репкой раздвоился, округлившись, её задок.

«Всё, – лихорадочно подумал Осташа. – Покамлала, и хватит, а сейчас – мне...» И вдруг он понял, что вогулки всё ещё нет на поляне, нет, и нет уже давно.

Осташа вскочил и бросился на луговину, перебежал рудничный двор, вломился в лес, стал продираться в тесных зарослях, хватавших его за штуцер. Он чуть не вывалился на другую полянку, поменьше, но успел остановиться, ухватившись за ствол осины. Посреди полянки в траве навзничь разметалась жлудовка, а на ней громоздился какой-то рыжий мужик, даже порты не спустивший. Он дёргался всем телом, взрывая землю коленями и пальцами босых ног. Осташе и одного взгляда было достаточно, потому что узнавание колоколом бухнуло в лоб: этот мужик был Яшкой Гусевым! Тем самым Яшкой Гусевым, Фармазоном, который должен был четвёртый год долёживать под землёй на Четырёх Братях, оберегая пугачёвский клад... А вместо этого Яшка, как и братец его Сашка, шлялся по земле, прячась от людей, и сейчас драл вогулку, которую Осташа присмотрел для себя.

Душа Осташа перевернулась кубарем, словно попала в водоворот, опаливший грудь ледяным холодом.

– Да сдохнете вы все когда-нибудь или нет?.. – беззвучно прошептал Осташа белыми губами, падая на колени и сваливая с плеча штуцер.

Руки его, раскрывшие затвор, не дрожали, но Осташа на них и не смотрел. Он не отрывал взгляда от Яшки на жлудовке – на Бойтэ, которая так могуче потянула его к себе... Нет, на жлудовке, на жлудовке, на сучке!.. Осташа провёл пальцем по кремню и по винту, сыпанул порошу на полку, закрыл затвор, вкатил в ствол пулю и приплющил её пыжом, взвёл курок, вздёрнул штуцер, прижал приклад к плечу и прищурился, выискивая гранёным концом ствола рыжую башку Гусева. Все знают, что Яшка мёртв. Убить мёртвого – не грех. Да и пусть грех убить Яшку, человека, плевать: смерть Фармазону и по делам его прошлым, и за то, что сейчас, именно сейчас он отнял у Осташа девку, а девка эта Осташе уже вроде нужнее становилась, чем удавленнику – глоток ветра.

Ствол смотрел Яшке в висок. Осташа помнил, что у его штуцера разлёт большой: можно и вогулке башку прострелить... Чуть дрогнув зрачками, Осташа посмотрел на Бойтэ, которая, захрипев, отвернула от Яшки исцарапанное лицо, облепленное мокрыми волосами. Лицо было прозрачно-пунцовое, отупевшее, как у дурочки, с опустевшими распахнутыми глазами, с раскрытым ртом... Осташа надавил на собачку.

Громыхнуло-бабахнуло, кислотной шибануло в нос, ударило в плечо так, что лязгнули зубы. Яшку словно пинком сбilo с девки. Он перекатился по траве и вскочил на четвереньки, ничего не сообразив. Правая рука его подогнулась, и Яшка ничком ткнулся в землю. По правому рукаву поползло красное пятно. Вогулка, как раздавленная, бессмысленно таращась, стала на задугу отползать назад. Осташа, путаясь в ветвях, проламывался на поляну. Добить Яшку, прикладом дать ему по темени... Яшка вскочил, шатаясь, подхватил торбу, валявшуюся рядом, и кинулся в лес, в кусты. Торба зацепилась за ветки, вырвалась из рук. Осташа совсем было настиг Яшку, махнул штуцером, но не попал по голове. Зажав ладонью рану на плече, Яшка склонил голову и боком, как заяц, побежал сквозь заросли, скрылся в урёме и тотчас как в омут канул.

...Осташа долго рыскал вокруг поляны, искал следы, капли крови на листе – ничего не нашёл. Яшка Гусев снова сбежал от смерти.

Вогулки уже не было, когда Осташа вернулся на поляну. Да ему и не до неё стало. Смыло все мысли, все желания. Осташа тяжело уселся в траву, за верёвку подтащил к себе Яшкину торбу и высыпал всё её содержимое. Сухари в мешочке, соль в узелке, запасные онучи, шапка, нож, оселок, рыболовные крючки в куске сосновой коры, ложка, тугой бумажный свёрток, обмотанный суровой ниткой, позеленевший медный складень... Осташа поднял складень и раскрыл. Этот складень принадлежал Макаровне. Когда пришла весть, что Чика-Зарубин поло-

жил всех Гусевых на клад, Макаровна надела чёрный платок по сыновьям, обещавшись не снимать его до смерти. С того дня прошло четыре года. А складень у неё исчез прошлым летом.

ПСЫ

Окна, что смотрели на улицу, были застеклѣны, а прочие – просто затянуты пузырями. Батя купил обломки стѣкол в разгромленной пугачѣвцами Шайтанке, там битого стекла много было. Батя привѣз стѣкла домой в Кашку, сам вставил в свинцовую оплѣтку. Макариха тогда ещё ворчала: «Почто деньги тратить?» – а теперь вот сидит у стеклянного окна, не у пузыря. Светец, чтоб Осташа лучину не изводил, подальше в закут задвинула.

Без бати вся изба как-то враз Макарихина сделалась. Батя, как хмельной домовой, был громыхалой – всегда у него дверцы хлопали, посуда брякала, дрова в печи трещали и стреляли, даже воробьи за окном дрались и галдели. А теперь – тихо везде. Осташа давился постной репной кашей, политой льняным маслом, и угрюмо зыркал по сторонам. При бате порядок был в доме, батя всякого хлама и рухляди не терпел. А теперь вдоль стен какие-то бочки рассохши-еся стоят, корчаги треснутые, лопнувшая конская дуга; все полати завалены узлами с тряпьем. Красивые тагильские подносы с росписью под лаком на полименте, что у бати для красоты на верхней полке поставца сверкали, Макариха сняла: слишком мирские, дескать, – грех. На печи сушится мешок с хлебными корками.

Корки Макариха весь год собирает, чтобы на сплаве нищим и голодным бурлакам втридорога продать. Батя однажды тихо сказал Макарихе: «Не с хлеба те сухари бы делали – в выгребную бы яму твой мешок кинул. Убери, чтоб никогда я не видел. А станешь продавать – выручку твою швырну в перебор, ищи, нырай».

Макариха сидела у окна на лавке, поставив ноги на тюрик, скамеечку малую, и работала на кроснах. Руки Макарихи словно сами собой сноровисто двигались внутри большой деревянной рамы, разбирали нити, встряхивали лоток. Кросны шуршали и стукали, пощёлкивали. Полоса ткани выползала толчками и складками стелилась Макарихе на колени. И кросны тоже батя из Ревды привѣз: они были на болтах, с железными шпильками и рычагами. А Макариха по бате небось и слезинки не уронила. По сынам своим Гусевым, псам, до гроба обещала чёрное носить, а бате на упокой и свечи не нашла.

– На что жить дальше собираешься? – спросила Макариха.

– Барку же продал, – буркнул Осташа. – Хватит.

– Иван Данилыч Путинцев приходил по твою душу. Говорил, что согласен взять тебя себе помощником. Или на плотбище пристроить...

– Я сплавщиком буду, – резко ответил Осташа.

Макариха пожевала губами.

– Сумеешь ли? – осторожно спросила она, не глядя на Осташу. – Не пустят ведь. А Кузьма Егорыч уже грозился оброк с тебя как со сплавщика содрать – весь рубль...

– А тебе какое горе? – Осташа оттолкнул чугуны с кашей. – Это моё дело, не твоё. Ты мне не мать, не бабка. Живи в батином доме да помалкивай.

Он встал, пихнул коленом лавку и пошёл из горницы; попил в сенях из ведра и на крыльце сел на ступеньку.

Уж лето давно на дворе, а всё удивительно: как это – выйти из избы в одной рубахе и не мёрзнуть? За зиму, наверное, так душа промерзала, что только к осени и успевала оттаять, а там и опять холода. Осташа сидел на ступеньках, глядел за ворота.

День клонился к сумеркам. Сизый дым плыл по пенным разводьям Кашкинского перебора, что разноголосно шумел на Чусовой у подножия Дождевого бойца. А Дождевой упрямо выпятил грудь и широко развернул плечи над острозубым лесом. Раньше с Осташиного крыльца был виден только нахмуренный лоб Дождевого, торчавший над крышей избы Прохора Зырянкина. После того как Гусевы извели Зырянкиных и спалили подворье, Дождевой стал виден весь. Но сделался он каким-то укоряющим и грозным, будто библейская скрижаль,

на которой был написан закон, что попрали Гусевы. Может, потому на пепелище никто и не захотел строиться, словно присесть на скамью при чьей-то казни. Высокая крапива торчала на пустыре нагло и погано.

Осташа поднялся со ступеньки, вышел на улицу, пошёл к пруду на речке Кашке. Дёла у него никакого не было, но оставаться в доме вместе с Макарихой не хотелось. На чурбачках у ворот грелись старики, кланялись Остахе первыми. «Это не мне, это они батиной памяти кланяются», – понимал Осташа, снимая шапку. Сестры Зворыгины уставились на него, и та, что побойчее, Верка, пропищала: «Остафий Петрович, потолковал бы с нами, дурами!» – а другие звонко засмеялись. Осташа не ответил. «Раньше для них я был просто Осташка...» Даже глупые козы будто что-то почуяли, уважительно прошли стороной, кивая и косясь, словно в руках у Осташи была хворостина.

Пруд на закате тлел малиновым светом. В крошечке щепок неподвижно плавали бревенчатые клетки для сплава дров. Чернели цепи-«кобылы» из чурбаков, нарезавшие гладь пруда вдоль берега на прямоугольные ячейки баков. В воде мутно отражались сваи причалов гавани, стены амбаров. На скатище по рёбрам склизней, вытертым до блеска днищами барок, прыгали и кричали чайки. Под большими чугунными чанами, где вываривался вар, ещё курились угли. Пахло дымом, рекой, мокрой древесиной бесшабашных плотов, сплавленных в половодье, – их уже рассыпали на брёвна, а брёвна закатали на берег и на просушку за плотбищем составили в костры.

Возле рам лесопилки, мерно качающихся взад-вперёд, ещё сустились мужики, стучали топорами, стаскивали в кучу свежие доски. На гребне плотины в вытоптанной траве сидел Иван Данилыч, плотинный мастер: ждал, когда можно будет остановить лесопилку, на цепях опустить тяжёлые заслонки в вешняках. За спиной плотинного мастера на козлах вращались деревянные оси. Они повизгивали и пузырили разогретым дёгтем. Оси вели от водобойных колёс к большим деревянным шестерням, которые кривыми шатунами двигали лесопильные рамы. Оба водобойных колеса ещё шлёпали плечами в каюзах, взблёскивали под солнцем.

«Всю жизнь вертеться на пруду, как колесу в ларе? – подумал Осташа. – С водяным в шапке из зелёной куги раскланиваться, по утрам под плотину мешки с золой высыпать?.. Нет!»

Осташа медленно пошагал вдоль пруда и плотбища на подъём в гору, прочь от Чусовой. Улица превращалась в Алапаевский тракт. Из Кашки казалось, что он уходит на полдень, но в лесах он сворачивал вдоль склона горы Старухи и выныривал у пристани Усть-Утка, пересекал Чусовую и змеился дальше, подсаживая на себя по пути угрюмые висимские заводы и расколоченный Невьянск с кривым когтем башни, вечно падающей на крытые щепой крыши. И где-то за полсотни вёрст от Кашки, за горбатыми увалами, за утёсами, за чёрным лесом столбами под самое небо стояли дымы Алапаевска. Там в брюхах закопченных доменных печей, как геенна в преисподней, сияя, варилось железо, остывало в изложницах, отковывалось под молотами, удары которых взрывались снопами искр.

А потом всю зиму обозы, скрипя, везли по тракту железо в Кашку, и в колеях под полозьями тяжёлых саней лёд раздавливалось в воду. В гаванях хрипящие от надсады бурлаки таскали прутья и полосы, чушки и листы в разъятые чрева огромных барок. И вслед за ледоходом выходил караван, падал в вешнюю Чусовую и катился по вздутой реке сквозь теснины скал, чтобы в пене и плеске, замедляясь, выкатиться на простор Камы. А уж там, на Лёвшиной пристани, в Оханске или в Нытве, его переймут, перегрузят железо на баржи и тихим ходом повезут дальше – в Россию.

На склоне горы под тяжёлыми лапами елей лежало кладбище Кашки. Кособочилась старая часовня с позеленевшей от мха луковкой. Осташа окинул кладбище взглядом. Ряды крестов были как чередующиеся рёбра кокор у барки: справа-слева, справа-слева, жизнь-смерть, жизнь-смерть. Зачем он сюда пришёл? Мать похоронена в Кыну, куда её, больную, повёз к лекарю батя, да так и не успел довезти живой. Лушу, батину приёмницу и дочку Макарихи,

не нашли, не похоронили нигде. Да и батю забрала Чусовая, не оставив ответа на Осташихин вопрос. К кому он, Осташа, пришёл сюда? Может, к Марусе?

Осташа не помнил, где её могила. Он оглянулся, будто ждал от кого-то подсказки. И деревня, и пруд с плотиной, и плотбище были вдали, внизу, в тени. Солнце уже зашло за гряды, но здесь, на высоком погосте, было ещё светло от пунцового облака и как-то красновато, словно от свечей в подземной каплице. Туман затягивал плоскость пруда, и казалось, что пруд налит парным молоком. Длинная дорога Чусовой тоже дымилась, а над этим белым дымом тремя раскольничьими голбцами придорожных крестов стоял боец Дождевой.

Осташа сдвинул с порога часовни медные монеты – чьё-то тайное подаянье – и сел, глядя в гаснущее небо над дальними хребтами. Вот так бы сидеть на берегу с Маруськой, с удочкой, заброшенной не для добычи, а для забавы, – а не на кладбище, точно и места веселее нет... всю жизнь жердиной об колено переломил Пугач.

...На Марусю Зырянкину Осташа стал поглядывать только последним летом до пугачёвского бунта, когда и ему самому, и Марусе было по четырнадцать. Здесь же, неподалёку от кладбища, в малиннике на склоне горы над Кашкой он бродил тогда, разомлев от жары. Топтал кусты, грёб горстями ягоды вместе с листвой, процеживая ветви между пальцев, и вдруг чуть не подпрыгнул, когда рядом раздался такой девчоночий визг, что, наверное, на версту вокруг все дятлы с деревьев посыпались. Это Маруся Зырянкина, которая тоже собирала малину и отбилась от старшей сестры Насти, услышала треск кустов и перепугалась – думала, медведь. Осташа выскочил на опушку малинника и увидел Марусю, сидевшую на корточках за еловым стволом. Лукошко валялось поодаль. В траве горели алые брызги рассыпанной малины.

– Вот д-дура!.. – в сердцах, но облегчённо выдохнул Осташа. Он и сам струхнул от визга. А Маруся вдруг заплакала. С ней, уже почти невестой, у парня на глазах приключился детский грех.

И можно было поглумиться над девчонкой, а потом рассказывать об этом друзьям, потешаясь и сплёвывая себе под ноги, будто бывалый бабий ходок. Сил и сноровки совладать с Марусей хватило бы. Осташа не раз видел, как на покосах за Кашкой парни гурьбой ловят девку, задирают подол сарафана на голову и завязывают лыком. И стоят, гогочут, глядя, как девка, извиваясь в траве белым телом, пытается освободиться. Называлось это «завернуть в кúколь». Уже года два, как парни постарше начали брать Осташу с собой, когда задумывали «кúколить» девок. Надо сказать, что и не всякая девка была против, хотя и всякая верещала. Но Остахе противно было стоять в гурьбе. За ржаньем парней он видел, что те попросту трусят остаться с девкой один на один, когда девка, скорее всего, не даст себя в обиду, да ещё и рожу обидчику расцарапает. И ещё было противно от вранья, которое все молча соглашались не замечать, когда от девки-то хотелось любви и ласки, а делали вид, что нужна лишь срамная потеха.

И Осташа тогда не посмеялся над Марусей, а молча подал ей руку, свёл к речке, постерёг, пока она замочит и просушит сарафанишко, а потом проводил к тракту, где уже металась, ревела и аукала Настя, потерявшая сестрёнку. Вроде бы – и всё. Осташа друзьям ничего о том не рассказывал: ещё посмеются, что упустил случай завернуть Маруську Зырянкину в кúколь. Но, встречаясь с Марусей на улицах, Осташа вдруг почувствовал, что ему приятно, когда Маруся краснеет при этих встречах; приятно, что между ними есть тихая и какая-то нестыдно-стыдная тайна. А Маруся поняла, что Осташа не растреплет никому про её грех, и в глазах её затеплились благодарность, уважение. И Осташа ощутил сладость тайной гордости за то, что он – сильный, он – как взрослый. Он знает что-то, чего не знает больше никто, и он покровительствует этой девчонке. В его власти сделать её счастливой или превратить её жизнь, хоть и на время, в сплошное позорище. В кои-то веки не потеха напоказ, а негласное доброе дело – как у бати – вдруг внушило Остахе уважение к себе.

А потом случилась беда с Лушей, и в ней виновен был отец Маруськи, что пошёл в целовальники на кашкинский постоялый двор, который отняли у проворовавшихся братьев Гусевых. А потом белобородовские бунтовщики выпустили Гусевых из-за решёток ослиной в Илеме, и Гусевы с шайкой Митьки Оловягина прикатили в Кашку по льду Чусовой, спяну разворотив всю дорогу, обтыканную ёлочками. При всём честном народе на площади у плотины они стояли на коленях, размазывая лживые слёзы по косматым рожам, будто бы горевали по загубленной Луше. А потом Гусевы со своими варнаками ринулись к дому Прохора Зырянкина.

Сыновья Прохора, отделившись, давно жили в Харёнках. Дочерей разобрали замуж – всех, кроме младших Насти и Маруси. Осташа в тот день сидел в подполе, запёртый Макарихой. Батю, связанного, Гусевы держали в избе плотинного, ещё не решив, повесить его или побрататься с ним... Настю и Марусю насиловали в конюшне всей оравой так, что кони выбили задние ворота и разбежались по двору. Потом Гусевы сотоварищи пили Прохорову брагу, потом снова насиловали девчонок, а потом потащили Прохора и жену его на площадь казнить, оставив совсем упившихся дружков дрыхнуть посреди разгромленной избы.

Сестры Зырянкины, помогая друг другу, сумели встать с истерзанной соломы в стойлах, вернулись в дом, кухонными ножами перерезали спящим глотки, забрали ружья и ушли.

Когда Осташа, ободрав плечи и бока, вылез из окошка подклета, обезумевший народ с криками бежал по улочкам Кашки к Алапаевскому тракту. И Осташа побежал, не зная, что батя валяется в сугробе под виселицей у плотины. Толпа покатила по дороге в гору, к кладбищу, к лесу, в котором уже скрылись девки-убийцы, уходившие в скиты. Все как с ума сошли – в гневе бежали карать смертью двух снасилованных девчонок, хотя и сами только что вздёрнули в петлях над плотинной ничем перед миром не виноватых Зырянкиных.

– Васюту!.. Васюту, друга!.. В спину ножом!.. – рыдал в бегущей толпе, цепляясь за брата, Чупря Гусев и рвал на горле ворот краденой рубахи. – В петлю сучек!.. В прорубь головой!..

Настя и Маруся слышали шум погони, остановились, развернулись. Осташа видел, как они вышли из заснеженного леса на опушку и медленно пошли вниз по дороге к толпе, поднимая и неумело прижав к плечам длинные ружья. Ещё по ружью висело у них за спинами. Обе они уже были во всём чёрном до пят, как схимницы, в чёрных платках, повязанных над самыми глазами, синь которых промёрзла до дна. Друг за другом Настя и Маруся, не целясь, выстрелили по толпе. Толпа с воем шарахнулась назад, рассыпалась по сугробам на обочинах, завизжала, завывала. Несколько выстрелов грохнуло в ответ. Маруся опустила ружьё и боком тихо легла на дорогу. Настя бросила свое ружьё, стянула с плеча запасное, снова подняла его и опять выстрелила. Потом и это ружьё бросила, наклонилась к Марусе, стащила с неё третье ружьё и, держа перед грудью, пошла вперёд. Выстрелить в последний раз она уже не успела – словно натолкнулась на что-то, уронила руки и прямо, как дерево, упала навзничь.

Мёртвых сестёр Зырянкиных долго топтали с криком, хрипом и рыданиями. А затем толпа вразброд повалила обратно, плюясь и кашляя, поддерживая воющих баб в раздрызганных одеждах и качающихся, будто пьяных, мужиков. Сашка Гусев хватал всех за плечи, совал в лицо свой нательный крест, в который ударила пуля Маруси: медный крест скорчился, как береста на огне, словно лапками хотел прикрыть живот. Потрясённые мальчишки, и Осташа среди них, остались на дороге, с ужасом глядя на жуткую кашу из грязного снега, чёрного тряпья, волос и крови...

Осташа сидел на пороге часовни и вспоминал, стискивал челюсти, чтобы не клацали зубы, сжимал кулаки. Глаза его надулись и высохли, будто он долго глядел в огонь. Тьма уже затопила долину Чусовой, только чуть отсвечивали крытые тёсом крыши деревни, да луна плавала в пруду, как тарелка. И тускло белел над долиной развёрнутый каменный складень бойца Дождёвого, под которым, как судьба у ног пророка, бурлил Кашкинский перебор.

Нет, всё не так, всё неправильно, всё – ложь! За что в кровавое толокно растоптали Маруську Зырянкину, ещё и в куклы не доигравшую? За что замучили жену Бакирки – так, что, только разум отняв, бог смог утешить татарина? За что вогульская девчонка Бойтэ стала жлудовкой, и теперь всякая пьяная рвань лезет к ней под рубаху со своими грязными копейками? За что его, Осташу, гонят от реки, как шелудивого пса, хотя он сплавщик и сын сплавщика? Почему Колыван Бугрин поганит батину память, хотя при имени бати должен шапку снимать, как сплавщицкая честь велит? Почему рыщут по урманам Гусевы, которым и в пекле дров не хватит? И не могла Чусовая, что двадцать лет хранила батю, лучшего человека на земле, поглотить его без следа, словно дохлую рыбу! Не может того быть! Нельзя так! Всё неправильно! Всё ложь!

Осташа не понимал, что, задыхаясь, он уже бежит с горы в деревню, домой. Макариха не спала, молилась у кивота, стояла под лампадой на коленях и держала в руках лэстовку. В красном свете лампадного огонька отблёскивали тяжёлые ризы окладов, словно мокрые от воды натёки на стенах пещеры, и сама Макариха казалась языческим идолом, что отбрасывал на половицы клином расходящуюся чёрную тень.

– Корову!.. Корову отравлю!.. – хрипел Осташа, бросаясь к запечью, где спрятал свою торбу. – Избу спалю, карга!..

Макариха с лицом, перекошенным от гнева, поднималась с колен, разворачивалась.

– Чужой век заел? – зло спросила она. – Ты чего молитву поганишь, калёта?

Осташа вытащил из торбы складень Яшки Гусева и что было сил швырнул его в грудь Макарихе.

– Всё говори! – заорал он. – Всё, что знаешь! Избу спалю, не пожалею! Кто из псов твоих жив ещё? Почему живы они? Кто за батей приплыл, чтобы клад Пугача прятать? Чика?.. Говори!

Макариха нагнулась, поднимая складень, медленно сложила его медные листочки и ответила:

– Яша жив – ты сам, значит, увидел... А с царской казной Ипат Терентьев из Старой Утки приплывал. Более ничего не знаю. И молчи. Служенье мне не скоромь.

ФЛЕГОНТ

Чего ходить вокруг да около, просить плотинного словечко замолвить, сплавному старосте кланяться, караванным в глаза заглядывать, купцов за рукава хватать?.. Всё равно не они дела сплава решают. На сплаве не важно, строгановская ли ты душа, демидовская, Яковлева или казны. Как Конон Шелегин скажет, так и будет. Он сплавом уже двадцать лет из Ревды, с Угольной горы ворочает. И ни разу поперёк его слова никто ничего своего не взял.

Надо было бы дожидаться случая, чтоб не бесплатно вверх по Чусовой полтора ста вёрст идти. Но вверх товары подымали зимой, по льду, и сейчас, в разгар лета, оказии не было. Осташа загрузил шитик и двинулся без попутчиков. Ему и дня не хотелось проводить под одной крышей с Макарихой. Пока есть деньги и оброк не висит над головой, нужно успеть повернуть свою жизнь в русло Чусовой. Не успеешь теперь – потом уже не до того станет: впрягйся в лямку, из которой тебя только смерть выпряжет.

Уже подступала межень. Непролазная жара загустела в теснинах. Скалы, горячие до звона и белизны, были обмётаны сизой дрожью лишайников. На гребнях, на взгорьях, все в солнце, пылали кремлёвые боры. Блестели пески-сверкуны. Пересыхали ёрами ивняки в поймах ушедших под землю ручьёв. Ястребы плавали над хребтами, словно не могли затонуть в зное, как в масле. Чумная зелень пёрла на заливах, удобренных половодьем. Урёмы пахли пылью и мёдом. Застенчиво золотились рожью редкие займища в лесах. Пахло гарью каких-то дальних пожаров. Река опала. Плёсы, словно плёнкой покрытые, только морщились рябью, как молочная пенка, если вдруг воздух вздрагивал бессильным ветерком. Залпами дробы проступили переборы на поворотах. Острова, косматые от тальника и птичьего щебета, лежали, как коровы на мелководье.

Вниз по Чусовой шли вереницы шитиков. Узкие плоты еле тащились, перетирали на отмелях лычаги и рассыпались на брёвна. Девки с баграми бродили по приплёску, скатывая их обратно в сплётки. Полубарки и межеумки, плоские, как блины, выползали на огрудки; бурлаки, даже не матерясь, устало лезли в воду, разводили в стороны крылья неволь, тянули бечеву, по аршину за рывок стаскивая судно на глубину. Межённые сплавщики на скамейках не стояли орлами, а сидели квашнёй, шапками утирали мокрые красные рожи. Только у ласточек хватало сил стремглав носиться над водой – но ласточки божьи птицы: их Христос благословил за то, что они у римлян гвозди украли.

Осташа повсюду видел следы миновавшего сплава. У берегов над титьками мелких волн торчали закаменевшие коряги якорниц, оторванных от барок; змеями блестели под водой обрывки их цепей. В узкой протоке у Золотого острова громоздились сразу три барки, летом непривычно высокие и серые от высохшей осмолки: деревне Пермяковой, знать, выпал хороший навар на переносе медных штык. Обмелевшие барки, словно огромные сараи посреди реки, высились на перекатах. Их, видать, решили оставить без разгрузки до осенних паводков. На кровлях их палаток дрыхли караульщики-водоливы, которые замотали головы рубашами и выставили отросшие, нечёсанные бороды – сырые, как банные веники. За Мостовым бойцом, похожим на съехавший с откоса амбар, за каменными ладонями Волеговских Гребней, на поляне против груды камня Гамаюна лежали огромные вороха брусьев, издырявленных досок, кокор. Это были разобранные на пустой лес барки, убившиеся под бойцами. Осташа видел и свежие, жёлтые кресты на скалах – на Большом Владычном, на Свинках, на Буром камне над плёсом Вёлчник. Страшно было взглянуть на небольшой Рёвень-боец: белый, как кость, он выглядывал из-под чудовищного, переломанного, разодранного корыта судна, вверх дном нахлобученного на скалу, – как проснувшийся в могиле мертвец из-под крышки гроба.

Осташа поднимался по Чусовой, и сердце его прояснялось, будто он летел к восходу. Всё здесь было ему ясно и понятно, всё без тайных умыслов, пачкавших душу. Вот на излучине

Журавлиное Горло старик в лодке опускает на дно реки плетёную вёршу, и не надо ему этой плотвы, а ждёт он ночи, чтобы подчалить к обмелевшему полубарку, залезть на порубень и спереть чего – чего удастся. Вот под Еленкиным берегом купаются нагишом девки из Мартыновой деревни и видят, козы, что Осташа подплывает, но притворяются, что не видят, чтобы с визгом вылететь из воды и скрыться в кустах, блеснув голыми задами. Вот на Пегушином переборе трёхзвеньевого плот завернуло свинячьим хвостиком, и на первой сплотке, на кичке, стоит пьяный мужик в порванной рубахе, не замечает, что плот идёт на камень, а жена у мужика на заднем звене молча ждёт, сжимая жердину: стукнется кичка в таш, кувыркнётся мужик в воду – и протрезвеет.

Вся жизнь с заводов перетекла на берега, где по опушкам поднялись шалаши и балаганы, задымили костры. На время межени и сенокоса заводы останавливались, а приказчики распускали народ, не глядя на долги. Теперь по лугам мужики ладили подводы и точили серпы, бабы заготавливали жерди, сучили верёвки из лыка, дети собирали ягоду, псы валялись в одуванчиках. Даже старики, вывезенные из запечья на луг, тихо сидели на полешках у костерков-дымокуров и плели лапти, гнули из луба туеса и бурачки. Стада, спасаясь от гнуса, стояли на перекатах, и хозяева забыли бояться: вдруг водяной оседлает скотину – и она сдохнет?

В калёном зное жизнь заостенела и на пристанях – на Усть-Утке и Сулёме, Илеме и Плешаковке, Старой Шайтанке и Старой Утке, Курье, Трёке и Каменке. Отощали, отступив, пруды, спустившие половину внешнего запаса. Причалы словно отползли от Чусовой. Истёртые ледоходами ряды свай торчали из сухой земли, усыпанной битым камнем и мусором. Ряжи расчертили зелёные полосы мха в пазах меж брёвен – сюда мутная весенняя вода набила грязи, песка и глины. Короткая травка обметала края площадок, намертво истоптанных бурлаками при погрузках. Крапива и лопухи по-дурному вымахали под стенами пустых амбаров. Плотины лежали как перевёрнутые телеги – с остановившимися колёсами над безводными вешняками, в ларях которых валялись дохлые собаки и спутанные космы водорослей. Затворы из неподъёмных листовенничных плах плотно перекрыли все водосбросы, и речки ниже плотин превратились в полосы белых пыльных камней. Медленно вращалось единственное колесо над последним открытым прозёром, визжало и скрипело, обессиленно двигая железные тяги к рамам лесопилок. В кузнечных избах усталым набатом звенели о наковальни редкие молоты, что ковали для страды косы, тележные дрючья и скобы.

На восьмой день Осташа добрался до Старой Утки и задержался – ходил узнавать об Ипате Терентьеве, который привозил Гусевым пугачёвскую казну. И не хотелось снова шоркать душу об эти занозы, но было надо. Впрочем, село стояло почти безлюдное, избы заперты. На сонном пруду даже детвора не визжала. Осташа пошёл на завод. Под стеной плотины глыбились домны из красного, закопчённого до черноты кирпича. Похожие на медведей в клетках, они были опутаны деревянной опалубкой с мостками, по которым в рабочее время к колосникам катили тачки с углём и рудой. Сейчас задранные трубы не дымили, народ не бегал, в тенёчке пустой и прохладной механической фабрики лежал телёнок, и только стрижи вились над крутыми гонтовыми крышами и верещали в тишине. Куры, дёргая головами, бродили по кричным дворам, сидели на угольных ларях, и при виде Осташа малиновый петух на верхушке шлаковой кучи начал яростно кидать пыль когтями и распустил крылья. Сторож, кормивший кур, тоже ничего не знал об Ипате Терентьеве. А если и знал, то всё равно бы не сказал: после пугачёвщины народ не болтал лишнего. У каждого за душой имелся свой грех. И напоминанием о нём были рвы и валы вокруг завода, бревенчатые бастионы с пушками, раз и навсегда повернутыми на пруд – туда, откуда сквозь картечь налетел бунт, весь в дыму от горящих возов.

С откоса плотины, заросшего ромашкой, Осташа глядел на просторную гладь пруда, отдувающую прохладой; на чехарду крыш села по склонам гор; на хоромы управляющего и приказчиков рядом с резной и фигурной церковкой. Смотрел на облака над далёкой горой Сабик, синей и прозрачной, как вода. Смотрел на угластый короб крепости, в котором, как в кузове

телеги, громоздились бурые бутылки и кованые сундуки завода, ещё десять лет назад демидовского, а теперь – Саввы Собакина, по-новому – Яковлева. Но Осташа всё думал о бунте.

...В Сысерти заводчик Турчанинов гарцевал на лошади по крепостному валу под пулями крестьян Ивана Грязнова, радовался, что взорвал лёд на пруду, и теперь мятежники устелят телами подступы к заставам, с которых лаяли им в лицо пушки. А здесь Белобородов кинул своих на непорухенный лёд, и вскоре батареи Старой Утки на плотине повернули жерла, вспахали народ ядрами и кровью мастеровых обрызгали домны от фундаментов до стрижиных гнёзд... Нет, никуда не деться от той зимы, от тех снегов, от того огня.

На следующий день к вечеру Осташа поднялся до Уткинской Слободы. В Слободе он хотел зайти к дяде Флегонту, попу слободского храма. Батя очень уважал Флегонта и всякий раз перед сплавом навещал его. Потом, уже во время сплава, когда батина барка пролетала мимо церкви, Флегонт всегда выходил на край скалы и смотрел, а батя махал ему тряпицей – непременно белой. Осташа даже не задумывался: почему?..

Флегонт был единственным, кто мог сейчас помочь Осташе. В торбе у Яшки Гусева была какая-то грамота, свёрнутая в трубку и обмотанная ниткой с печатью. Осташа печать сорвал и грамоту развернул. Толстая, закапанная воском бумага была густо исписана раскольничьей тайнописью. Осташа в ней ни одного слова понять не смог. Видно, Яшка Гусев, скрываясь от людей, прятался в скитах на Весёлых горах и служил старцам гонцом, ходил с посланиями на Яик и Ирғиз, на Ирюмские болота к Мирону Галанину и на Керженец. Конечно, надо было грамоту отдать кому-нибудь из тех, кто держит связь со старцами, а не хранить её у себя. Да хоть Макарихе отдать – она бы переправила письмо хозяевам. Но вдруг по грамоте можно узнать, где и почему укрывается Яшка, кто и от чего его укрывает? Да и батя к скитам относился как-то с оглядкой. Мол, старцы души спасают, грехи людские отмаливают – это хорошо; но не дело скитникам в мирские дела соваться, сплаву свою волю навязывать и бунтовать против власти. А после того как старцы Пугача поддержали, батино уважение к ним и вовсе на нет сошло. Потому Осташа и не вернул грамоту.

И ещё одно: в бумажной трубке лежали шесть медных родильных крестиков, и на их исподах Осташа разглядел выцарапанные буквы: «НЗР СЛНВ», «ВС КДНВ», «ПРХР ПТНН», «ЛФР ГЛВ», «ТРФМ КТВ», «КЛВН БГРН». Что они означали?.. Обо всём этом Осташа мог спросить только у человека, не связанного ни со старцами, ни со сплавом. И другого такого человека, кроме попа Флегонта, Осташа не знал.

Раскольники часовенного толка не были столь же непримиримы, как другие: калёным железом не выжигали на зипунах капли, капнувшие с кровли никонианского храма, вертепа по-ихнему. Но всё же Осташа решил сначала замолить грех и причалил за Гуляй-камнем, что высился на берегу в краснолесье, как ядрёный гриб-боровик. Осташа поднялся на гору к слободскому кладбищу в лиственничной роще. Кладбище лежало на Георгиевских камнях, и здесь была старая часовенка, куда из Соликамска привозили намоленную икону – медный складень святого Егория. Складень этот на оборону Соликамска послал ещё Иван Грозный, и Егорий не раз защитил город от татарских набегов. Икону привозили на Пасху, если Пасха приходилась до начала сплава: святили вешнюю воду и вал и на барке везли икону до Камы. Все сплавщики знали, что после такого освящения убитых барок куда меньше случалось. А барка с иконой за полвека ни разу даже не отурилась.

Уже смеркалось, когда Осташа задул лучину перед кивотом, вышел и притворил за собой косую дверку часовни. Мимо Георгиевских камней Осташа поплыл к перешейку мыса, на котором стояла Уткинская Слобода. На Уткинской казённой пристани вечно толкся разный чужой и тёмный народ, а потому Осташа не решился просто положить шитик на берегу и пойти к церкви. Он заволок лодку на постоялый двор, где под телегами уже укладывались спать ямщики, договорился с хозяином и по взвозу поднял шитик на сеновал. Он увидел, как

мужики высовывают из-под телег головы с сеном в волосах, провожая глазами ладную, лёгкую лодочку, и дал ещё грош сторожу. Потом направился к храму.

Храм стоял на бывшем крепостном дворе. Когда-то церковь в Уткинской Слободе была раскольничьей, но в ней огненную купель приняли слобожане во главе с Федькой Иноземцевым, беглым стрелцом и уставщиком. Новый храм на куревийце власти возвели в никонианской ереси, чтоб слобожане больше не жглись. Ну а крепость в Слободе поставили ещё в старину, ещё при Строгановых, для защиты от башкирцев и татар. Сейчас от крепости остались только две низкие и кряжистые башни – косые, со съехавшими вбок венцами и с дырявыми шатрами. Башни соединяло прясло гнилого частокола, который разошёлся растопыренными пальцами, наклонясь наружу над мелкой и грязной канавой бывшего рва. Осташа с любопытством разглядывал развалины, сравнивая с заводскими крепостями, что построены совсем не так: с шанцами и бастионами, с флешами и рядами фаши́н по верху стен и без всяких башен. От слободских развалин пахло прелью, ещё не исхоженными лесами, Ермаком в орлёной царской кольчуге, а от заводских крепостей – свежим железом, розгами и солдатами.

Изба попа Флегонта была уже заперта. Попадья на стук в ставню не открыла, только пригрозила:

– Прочь, прочь иди, нету самогó, а я с топором!

Осташа не удивился – и здесь помнили Пугача. Он пошёл к церкви, поднялся по лестнице на гульбище и наткнулся на большой и ржавый замок в дверных петлях. Вот так!.. Куда же поп провалился? С высоты гульбища и с высоты скалы, на которой стоял храм, Осташа видел широкую излучину Чусовой меж холмов, застроенных домишками Слободы. На перекате в чёрной воде дрожал месяц. Вдоль пруда на речке Утке горели костры ночлежников с Уткинской пристани, и над прудом висел слоистый белёсый дым.

Осташа спустился с гульбища, обошёл церковь и ногой потыкал сквозь бурьян в волоковое окошко подклета, не до конца задвинутое заслонкой.

– Дядя Флегонт... – на всякий случай позвал он.

Окошко вдруг тихо открылось.

– Кто там? Ты, что ли, Осташка?.. Лезь сюда! – шёпотом велел поп. – Лезь-лезь, не спрашивай...

Удивляясь, Осташа сел, просунул в окошко ноги и протиснулся в узкий проём. Флегонт поймал его и тотчас заволок окно.

– Ты чего, дядя Флегонт, тут прячешься? – спросил Осташа.

– Не базлай, говори, чтоб чуть слышно было, – в темноте сказал поп. – Садись вон на кадушку, будешь со мной караулить.

– А чего караулить? – присаживаясь, полюбопытствовал Осташа. – С тебя и взять-то, кроме грехов, нечего...

Флегонт усмехнулся.

– Я тебе могу сказать, ты – Перехода сын. Кроме Перехода, никто бы мне сейчас и не пособил... Укладочка у меня тут захоронена, а от кого, кому и зачем – не спрашивай. Дьячок наш, бутылочный ополóсок, донёс мне, что видел на постоялом дворе двух людей издалёка. Говорили они тайком друг с другом, что хотят ночью забраться в храм и укладочку мою прибрать. Вот, сторожу.

Потихоньку глаза Осташа привыкали к темноте. Он различил толстого, здоровенного Флегонта, сидевшего то ли на коробе, то ли на сундуке. Флегонт приготовился караулить основательно: рясу подвязал верёвкой, космы прижал шапкой; за его плечом стоял, прислонённый к стене, увесистый ослóп.

– А чего не в доме укладку хранишь? – спросил Осташа.

– Ты моих бесенят не видел.

– Тогда сказал бы караулу на пристани...

– Не я укладку собирал, не мне разбирать, а караулу про то и вовсе знать не надо.

– Перепрячь ещё куда.

– Куда? Я ведь не Демид, который сто гор купил с пещерами. Где уж смог, там и спрятал. Мне главное поймать хоть одного из тех мужичков, которые за чужим добром рыщут. Узнать, кто они такие и откуда про укладку узнали... Вот ты мне и поможешь. Сам-друг справимся.

– Помочь-то помогу, – нехотя согласился Осташа, – только не по душе мне это, дядя Флегонт. Откуда я знаю, в чём тут дело? Батя говорил, что все тайны людские – от лукавого. Господь своего от людей не таит.

Флегонт вздохнул. Слышно было, как под его грузным задом скрипнул от натуги берестяной короб.

– Не я, Осташка, эту тайну выдумал. И мне её против моей воли навялили. И деться мне некуда. А ты такой же, как батя твой, царство ему небесное. Он тоже всегда спрашивал: «От бога или от барина?» Как, нашли тело?..

– Не нашли.

– Я за упокой души его молюсь... Молюсь, знаешь, да сам думаю: почто Господу просьбы мои, от меня – в суетах погрязшего? Переход – святой человек. Может, и сам-то спасусь, только когда он в вертограде обо мне вспомнит... Или где он там ещё? На ваших блаженных островах Макарийских?.. Горько мне, Осташка. А тебе небось вдвойне. Но не ропщи, грех.

– Ну уж, святой... – пробурчал Осташа, хотя сердце согрели слова Флегонта об отце.

– Суесловлю, – вздохнув, согласился Флегонт. – Но твой батя по-праведному жил. Слышал я разговоры о Переходе: мол, жил по совести – оттого и берегла его Чусовая. Ты в это не верь. Какая за правду награда в нашем мире? Никакой. И Чусовая никого не бережёт – наука сплавщицкая бережёт, сам знаешь. А батя словно послан к нам был, чтобы сказать: можно жить по совести и выжить, можно. В народе-то как считается? В миру, мол, без греха не прожить, хочешь или не хочешь. А батя твой словно спорил: можно прожить! Вот и скорблю о нём. Иконы-то, знаешь, коли в ветхость придут, так не рубят их, а в воду отпускают...

У Осташа повело горло. Никто о батю не горевал, кроме него, а вот ещё и поп Флегонт, оказывается... Дядя Флегонт, о котором Осташа и не вспоминал. И вдруг Осташа начал рассказывать: и про Колыванов поклёп, и про то, что его от сплава отлучают, и про Гусевых с Макарихой. Флегонт слушал молча, кивал в темноте.

– Давай мне грамоту свою, – сказал он. – Я их тайнопись знаю... И лучинку уж зажги.

Он развернул на колене толстый лист, склонился и начал читать, что-то бормоча. Потом распрямился, скрутил грамоту обратно трубочкой, посмотрел на Осташу, замершего в ожидании, и сквозь трубочку дунул на лучину.

– Это ваш раскольничий благочинный Асаф Карчагин пишет из Бударинского скита на Яике, на Урале по-новому, всем вашим иереям на Весёлых горах и Ирюмских болотах. Весной он перед смертью атамана Чику исповедовал, который прятался в яицких пустынях под фамилией Зуморшеев. Чика ему открылся и просил передать в скиты, где золото награбленное спрятал.

– И... что? – цепenea, спросил Осташа.

– А то, что на Чусовой он казны не прятал. Не сказано о том.

– Чьё же золото батя зарыл?

– Ну, чьё... Белобородова, наверное. Я вот чего думаю, Осташка... Екатеринбурга Белобородов не взял. Князь Гагрин разбил его на Сылве при Тебеняхах, и пришлось ему утекать в Касли к Пугачу. Золота при нём не было, одни порты с дырой на задку. И к Гагину казна тоже не попала. Значит, осталась она на Чусовой, точно. Её твой батя и спрятал. Он ведь поначалу верил, что Пугач – это Пётр Фёдорович. Верил-верил, не спорь, я сам с ним о том говорил не раз, знаю. Видишь, как божий промысел разъясняется... На батю твоём благодать божья почил. Я, дурак, убеждал Перехода: не царь это, а Пугач, беглый казак. А от Перехода пря:

«Чужое имя на себя брать грех, чай, под своим крещёны, чужой души в себя не вставишь, значит – царь». Я думал, Переходу ума не хватает понять, а ума-то мне самому не хватало. То ведь бог Перехода берёг. Не верил бы Переход, что казна царская, – не взялся бы укрывать, он ведь ни перед кем не плёжил. А отказом он себя на смерть бы обрёк. Гусевы бы те же убили батю твоего, или этот Ипат Терентьев... А батя верил и спрятал для царя – тем самым живым залогом для казны стал. Ну а как дошло до него, что Пугач-то – сам Антихрист, то отрёкся он от клада, будто и не знал ничего. Я думаю, так было.

Осташа ничего не мог возразить. Про такое он думать не умел.

– Ну а про это что скажешь?.. – робко спросил он и высыпал в протянутую ладонь Флегонта медные крестики. – Там и написано чего-то...

– Зажги-ка снова лучину.

Флегонт долго рассматривал крестики, вертел в пальцах.

– Я так понимаю, имена это нацарапаны... Назар, Евсей, Прохор, Алфёр, Колыван... И фамилии тоже. Прикинь, какие подходят?

Осташа глянул на крестик, где было написано «КЛВН БГРН», – тут и гадать не надо было: Колыван Бугрин. Осташа знал ещё сплавщика из Трёки Евсейку Кудинова и слышал про молодого Алфёрку Гилёва из сулёмских Гилёвых: нынешним сплавом тот первый раз барку провёл.

– Из шести трое сплавщики? – удивился Флегонт. – Ну, надо думать, что и другие трое – тоже.

– А откуда у старцев родильные кресты сплавщиков? Зачем они им? – Осташа был изумлён и даже встревожился, чуя что-то тёмное, злое, тайное.

Флегонт долго размышлял и скрёб бороду.

– Я тебе вот что скажу, – решительно произнёс он. – Не случайно тут всё: Переход и Гусевы, скитники и сплавщики. Тут всё прочно друг с другом перевязано. И сердце всего – мамбона. Казна. Всё вокруг казны. Людишки – дрянь, я это понял; любоимёние им всего выше. Я не корю никого, я и сам дрянь. Но только золото могло всех в один мешок запихать. Чья казна? Пугача! Белобородов – пёс его. Кто Пугача с объятьями встречал? Скитники, потому что Пугач обещал веру их на свет из теснин вывести. Кем скитники кормятся? Сплавщиками – из тех, кто под рукой Конона Шелегина ходит. Сплавщиков они и держат за горло анафемой своей. Казна у бати очутилась, а кого за ней отрядили? От скитов – Яшку Гусева, а от сплавщиков – Колывана. Не дурак же Колыван клад искать, не пытарь, а сплавщик, и сильный сплавщик, первый после Перехода. Вот и вся тайна. Поверь мне, старому греховоднику, Осташка: у каждой тайны дно из золота.

– Тайны – от лукавого... – растерянно сказал Осташа. – А ты говорил про батю...

– И не таких праведников майдан топтал, – зло ответил Флегонт. – Вспомни Писание, кто вопил: «Распни его!»? Я батю твоего со Спасителем не сравниваю, то великий грех – но жить по правде всякий может, если душой не торгует. Сам Антихрист на Русь пришёл, чтобы таких, как батя твой, в прах сверзить. Это я говорю: отрёкся Переход от клада, и шабаш! А батя твой четыре года один против бесов держался и во врёющие воды ушёл, а искушению не поддался. Да что ж за жизнь такая – что ни крепкий человек, то сгубят!.. Тяжко, Осташа, мне, знаешь как? Себе мерзок, когда таких человек знал!

– А думаешь, батю убили?

– Думаю, убили. Не знаю как. Сам ты, что ли, в его смерти тайны не чуешь?

– Как не чують...

– А где тайна – там лукавый. И подручных у него – легион.

– А кресты – это что?

– Ты, Осташа, не обижайся, но я тебе о вере вашей скажу... Еретики вы все, раскольники и староверы. Кто больше, кто меньше, но еретики. Раньше, ещё при Аввакуме огнепальном,

вашей веры людишки в теснины и рассёдины бежали души спасать, уносили их от Никонова ока. А сейчас-то чего не бегут? Сибирь, что ль, в овчинку уменьшилась? Беги хоть в Беловодье, хоть до второго пришествия – а не бегут! Им лучше двоеданами здесь быть, чем бежать куда ещё! Спрятались на Чусовой под ёлками, как падшие ангелы под траву-прострел! Но все скиты ваши – и на Весёлых горах, и на Ирюмских болотах – властям известны. Чего ж ваши учителя всё равно сидят там как приколоченные? Знаю я ответ: они как-то по-другому теперь души уносят и спасают. И крестики эти – тому свидетельство. А бог-то сатанайов и под прострелом узрел – да пронзил их всех перунами, громовыми стрелами!

Холодом и какой-то дикостью пахнуло на Осташу от слов Флегонта.

– Ты, дядя Флегонт, о чём говоришь? Мы православные. Какое спасение души ещё может быть, кроме поста, молитвы, пустыни?.. Прочее всё – шаманство, идольничество.

– И я о том. Дырники – эти из ваших, а разве они не идолу молятся? Боюсь, что старцы ваши наморочили, подменили образ кумиром, а вам о том и неведомо, потому что ваши служенья от вас самих же в тайне. Давно уже у меня мысли о том, честно признаюсь. Только за руку никого не поймать. Но сам подумай: откуда у старцев, у Мирона Галанина власть такая – не только над сплавщиками, а даже над купцами-миллионщиками? От кого хлеб их? Почто они так рьяно пекутся на Яике – о киргизах, на Ирюме – об остяках, на Чусовой – о вогулах? Всякого иноверца крестить готовы! В ваших каплицах черти на потолке живут. Боюсь я, что выволокли ваши старцы из древнего шаманства какую-то шибко тёмную прелесть и к делу своему приставили. А дело – мамона, как тебе я и говорил. Если б не мамона, то незачем было бы старцам в мир соваться и сидеть на Весёлых горах у царя и Синода под носом. Дела веры, даже ереси, и в чащобе на поляне решить можно.

Глухое несогласие, недовольство словами Флегонта тяжестью легли на сердце Осташи. Флегонт почувал это и добавил:

– И тебе, Осташа, я вот чего скажу... Вижу душу твою неукротимую... Тебе сплавщиком быть – спасение. Не станешь сплавщиком, так станешь убийцей или подашься в расколоучители. Ты эти мои слова запомни.

Осташа уже раскрыл было рот возразить, как вдруг Флегонт прихлопнул его губы ладонью и прошептал:

– Тихо!.. В окно скребутся!

Оба они замерли, глядя на узкую синюю полосу перед заслонкой волокового окошка. И в полоске появились чьи-то пальцы, тихо отодвинули дощечку в сторону. Сноп лунного света косо просунулся в подклет, осветив земляной пол, лубяные короба, круглый бок кадушки из клёпок-пиповки. Осташа увидел, как Флегонт убрал кончики лаптей в темноту. Снаружи выжидали.

Потом проём окошка заткнуло чьё-то тело. Осташа понял, что вор лезет в подклет вперёд ногами и вверх задом. Протиснувшись, он мягко прыгнул вниз, но не успел и распрямиться, как сверху на него, будто подушка на кота, рухнул Флегонт.

– Осташка, вали его!.. – сипло крикнул поп.

– Микита, засада!.. – удушенно рывкнул вор из-под Флегонта, пытаясь перевернуться.

Осташа подскочил к косматой ворочающейся груди под окном, не разбираясь, где чьи руки и ноги. Посыпались короба и туеса, затрещала, разрываясь, береста. Флегонт со стоном откатился в сторону – Осташа увидел его белые в темноте пятерни, прижатые к чёрному брюху. Мужик спиной к стене поднимался в рост, в его кулаке был нож.

– Не подступай, пырну, – предупредил он.

Всклооченная борода вора стояла дыбом, левый глаз слепо блеснул бельмом. Осташа так и замер, раскорячившись в полуприседе – как он собирался навалиться на дерущихся. Мужик быстро повернулся и словно нырнул в узкое окошко. Босые пятки его, соединившись,

мгновенно уехали в проём – снаружи напарника дёрнул на себя другой вор и вытащил его из подклета. Топот простучал по двору и затих.

Осташа кинулся к Флегонту. Тот уже сидел, держась одной рукой за бок, а другую руку вытирая о бедро.

– Н-ну, псы... – сипел Флегонт.

– Порезали тебя, дядя Флегонт? – встревоженно спросил Осташа, опускаясь на корточки и вглядываясь в сморщенное лицо Флегонта.

– Да есть чуть-чуть, – прокряхтел Флегонт. – Д-дубина же я... Надо было его сразу осло-пом по башке... Ведь брал же я ослоп с собой, брал!..

КОНОН

Прошка Крицын, внук Конона Шелегина, запрягал лошадь и презрительно поглядывал на Осташу. Был Прошка дороден и коренаст, зад, как сундук, брюшко уже поднапрягло опояску. Локти Прошка держал врасстырку, болтал ручищами в подвёрнутых рукавах. Осташа, сощурившись, молча глядел, как Прошка ходит вокруг лошади и телеги, поправляет упряжь, подёргивает ляжками, мотает головой, словно ему ворот жмёт. «Ну, как ещё поломаешься передо мной? – думал Осташа. – А то ведь я, дурак, только до Шайтанки кланяться собирался...» По сравнению с Прошкой Осташа был совсем тощим и маленьким.

Он сидел на чурбаке во дворе усадьбы Конона Шелегина под Угольной горой. Жилище Конон отгрохал на века: домина о трёх ко́нях и в два яруса; службы покоем охватывали двор, замкнутый целым тыном с крытыми воротами. Такие усадьбы ценою в три барки не сплавщики, а скупщики золота строили – в Екатеринбурге. Не хватало только, как в Невьянске на башне, двуперстной вётреницы или сияющего петуха из прорезного медного листа над дымником. Вместо петуха при Кононе состоял зять Калистрат Крицын.

Усадьба стояла ближе к окраине Ревды, челом на широкий пруд, за которым под самые слепящие облака рёбрами дохлой кобылы торчали трубы демидовского завода. Одним углом домина Конона врезался в набыченный склон Угольной горы, заросший курчавой малиной. Осташа понимал, что это не случайно. Конон был раскольниковым старостой, и в подклете у него наверняка была каплица – тайная молельня. Подземный лаз вёл оттуда куда-нибудь в укромное место, где тихо зеленел в овражке замшелый голбец. Те, кого мир видеть не должен, приходили к Конону тайком и уходили тайком, промышляя своими тёмными делами. Какими? Может, книги расколоучительные носили, может – учителей прятали. Может, и деньги хорошили, потому как Конон весь сплав за горло держал. А может, и ещё что, ведь не зря же говорили о Кононе, будто вокруг него появились людишки какого-то нового толка – «истяжельцы», или «истяжельцы».

Конону было уже под девяносто лет, и на сплавы он, разумеется, уже не ходил. Рассказывали, что отец у него слыл первым лодейщиком в Верхотурье, а потому Конона прибрал к рукам тобольский царёв дьяк Семён Ремезов, который и придумал караваны с невяньским и каменским железом плавить весною по Чусовой. Ещё пока царь Пётр молодым был, провёл Ремезов первый караван от Уткинской пристани, и на том караване на струге у стерна стоял молодой Конон Шелегин. Три десятка лет Конон ходил от Уткинской пристани с каждым караваном. Потом за цену целой барки его купил Акинфий Демидов и поставил на ревдинские караваны. Ревдинский завод тогда только-только первый чугу́н изрыгнул. Ещё сорок лет Конон плавал от Ревды. В тот год, когда Пугач собирал казаков и башкирцев на Яике, Конон провёл свой семидесятый караван и удалился на покой. Все думали, он в скиты уйдёт, но как бы не так.

Были у Конона и крушенья, и несчастья, на волю он так и не выкупился, но заработал главное – уважение Чусовой. Конон от сплава всю жизнь скиты кормил. На скитских старцев опирались купцы и заводчики, выручаясь деньгами и народом. Потому в караванном промысле скиты всегда на Конона кивали, а заводчики перечить не могли. Всю власть на сплаве Конон потихоньку под себя подтянул, как на Ирюме Мирон Галанин все толки раскольников в своей горсти сжал. При Кононе и при скитах осели и другие старые сплавщики, благо что до таких лет разве один человек со всей пристани доживал. И теперь у Конона в упряжке оказались все караванные старосты по всем семнадцати пристаням, частным и казённым, все купцы с Чусовой и половина купцов с Ирбитской ярмарки.

Конон Шелегин, крестьянин из гонимых раскольников, почти слепой, весь изработанный, подневольный крепостной Демидовых, был царём на Чусовой. Его слово здесь решало

всё. Только у Конона Осташа и мог добиться справедливости, хотя был строгановским, а Конона раньше никогда и в глаза не видел.

По ступенькам крутой лесенки с висячего крылечка Калистрат Крицын сводил за локоток Конона с палкой в руке. Прошка, завидев деда и отца, побыстрее погнал лошадь со двора. Осташа встал, снял шапку. Конон ступил на землю, вышел из тени, поднял лицо к небу, не спеша перекрестился. Калистрат легонько направил старика к скамейке и мельком кивнул Осташе: мол, подходи. Конон медленно пошагал по пригреву. Руки и ноги его еле шевелились, застомёв от вечной сырости сплава. Конон палкой слепо тыкал в землю, точно показывал: сюда через шаг ступлю.

Калистрат присел на скамейку рядом с Кононом. Осташа стоял перед ними, смяв шапку в ладонях.

– Век здоровья, дядя Конон и дядя Калистрат, – буркнул он.

– Слышу – вроде не поклонился, – сказал Конон Калистрату, подставляя для ответа волосатое ухо. – Башку-то хоть опростал?..

Голос у Конона был грубый, суровый, глухой. Звучал он словно сразу со всех сторон – как у домового.

– Не опростал бы, так я с него шапку вместе с волосьями живо бы сдёрнул, – ответил Калистрат.

Осташа хмуро глянул на Калистрата. Калистрат тоже числился в сплавщиках, но перестал ходить на сплавы вместе с тестем, хоть и был на три десятка лет моложе. Сейчас он при Кононе считался за главного приказчика. Впрочем, среди сплавщиков про него ходила байка, что Конон Калистрата держит, как козла в конюшне – анчүток отгонять.

– Ну, и чего надо? – устало спросил Конон.

– Пришёл просить, чтоб ты за меня слово замолвил. Сплавной староста не берёт меня в сплавщики, – осторожно объяснил Осташа. – По обычаю, я должен в сплавщиках быть. Я пять раз при бате в учениках прошёл.

– Старосте виднее, кого брать, кого не брать, – хмыкнул Калистрат. – Жалуйся хозяевам.

– Хозяева старосту и послушают, а не меня. А староста лжёт. Он мне за батю мстит, что батя ему не кланялся. Если дядя Конон за меня не заступится, не быть мне сплавщиком.

– А дядя Конон на Чусовой каждую соплю подтирать обязан? Батя твой и дяде Конону не кланялся, а сплавщиком был.

– За батей чёрная слава не шла по пятам, как за мной. Батя мог и сам. А мне никто не доверит барку, если дядя Конон доброе имя бати не подтвердит. Дядю Конона все послушают.

– Вот батю и благодари за чёрную славу, – Калистрат пожал плечами. – Ты лучше в скиты иди, там старцы за всех ходатаи.

Осташа подумал и негромко ответил:

– Я ведь не у Господа, а у мира воли прошу. Господь и без старцев знает, что на батю Колыван Бугрин поклёп возвёл.

– Колыван Бугрин – первый сплавщик на Чусовой. Он знает, что слово его дёрого стоит. Он зря не скажет.

– Колыван при бате на скамейке не стоял, как ты при дяде Кононе подсел, – снова сдерзил Осташа. – Он своими глазами батиного предательства не видел. Почему говорит – я не знаю, хотя и есть догадка. Но не в том дело. Колыван честь сплавщицкую порочит. Уже за это одно дядя Конон за батю вступить должен. Да и знаете ведь вы батю, хоть в друзьях и не ходили, что не мог батя того сделать, в чём его Колыван обвиняет.

Калистрат раздул ноздри, услышав от Осташа, что он «подсел на скамейку Конона». Но Конон, слепо усмехнувшись, похлопал зятя по колену, остужая пыл.

– Не Колыван, а само дело против твоего бати говорит, – сквозь зубы произнёс Калистрат. – Исчез Переход – и клада нет. Трудно ли связать воедино?

– Да что ж вы все батю к кладу лепите, будто уж и людей с совестью не бывает? – зло спросил Осташа. – Смерть не спрашивает, кому когда помереть удобнее. Коли так обернулось, это ещё ничего не значит!

– Богу не значит, а миру значит. Хочешь батино имя обелить – найди казну Пугача.

– Ты, дядя Калистрат, меня как лешака, что ли, отваживаешь заданиями невыполнимыми? – ощерился Осташа, досадуя, что Конон молчит. – Может, мне для тебя дерево вырастить ветками в земле, а корнями в небе? Или из песка верёвку свить?

– Почему – невыполнимыми? – хмыкнул Калистрат. – Ты – отцова кровь, на тебя клад аукнется. Это ведь ежели чужой человек клад возьмёт, так его невидимка схватит и держать будет, пока тот клад не выпустит. А ты – бери. И уноси.

– Кому? Вам? – Осташа сощурился.

– А кому ещё? Государыне-блуднице? Никонианцам в монастырь? – глаза Калистрата глядели как ружейные дула. – Или себе? Так тебе с казной почто сплавщиком быть? Ты на казну всю Чусовую купишь вместе со всеми Демидами!

– А без казны вы человеку доброе имя не вернёте?

Калистрат не отвечал – глядел на Осташу и ухмылялся. Конон вроде и не слушал, жмурился на солнышко.

– Тьфу честь ваша сплавщицкая!

Осташа подумал и плюнул под ноги Калистрата, уже не боясь гнева стариков. Понятно стало, что не будет ему здесь прока. Но отчего же Конон молчал? Конону-то какая корысть?

– Нечем мне доказать, что батя честен, кроме веры своей в него! Но помяните моё слово – я докажу! – предупредил Осташа. – Ладно, найду я казну, только вы её не получите! Да я и сам её брать не буду, потому что батя не брал – значит, нельзя и мне! Но найду и всем докажу – батя честен был!..

Осташа помедлил, испытующе глядя на сплавщиков, и решительно надел шапку.

– И провались ты, дядя Конон, с твоей властью, коли власть твоя правде не радеет! – отчаянно добавил он. – Кому нужна-то она, кроме тебя да захребетников твоих? Сам семьдесят раз на сплав ходил, а совести и на один раз не заработал!

Калистрат уже было вскочил, но Конон – даром, что слепой, – как-то сумел схватить его за шиворот, удерживая на скамейке. Он криво улыбался, мучительно вглядываясь почти прозрачными, почти невидящими глазами в Осташу.

– А щенок из тех, что не тонут, – пробормотал он то ли с одобрением, то ли с ненавистью.

– От бати своего спóрышек... – прошипел Калистрат.

Спорышек – это яйцо, что петух снёс в навозную кучу; из этого яйца змей-василиск вылупляется.

– Вижу я... – продолжил было Конон.

– Да отемнел ты давно!.. – крикнул Осташа, перебивая.

– Вижу я, – упрямо гнул Конон, – что сплавщиком тебе не быть. Не дам. Расплатишься за себя, и за батю тоже, хотя ни ты, ни Переход небось и не знаете, за что платите...

– А за что?!

«Пугачом мир за грех свой платил», – говорил батя. Но какой грех-то? Какой грех у подневольного, у проданной души?

– И коли тебе сплавщиком не быть, я тебе поясню. Ты теперь как мёртвый для сплава, и слово твоё людям – персть и блазн. Чего, думаешь, мы, старики, тут при сплаве делаем? Сидим и пальцами тычем: этого бери в сплавщики на такую-то барку, этого на такую-то, а этого в шею гони? Кто бы нас, кто бы меня тогда слушал? У всякого купца и заводчика, у всякого приказчика и сплавного старосты своя голова на плечах! И других ему не требуется. А мы, старики, не сплавщиков назначаем, а всем сплавом руководим. Это мы говорим: та барка убьётся, а та дойдёт, понял?

Осташа слушал и ухмылялся, повернувшись боком.

– Каждая барка – это узда на купца или заводчика. Тот купец обманул – покарать его! Тот заводчик шибко подниматься начал, отчего нашему делу ущерб, – его обрушить! Эти вклад дают щедрый – и скатертью дорога! Здесь, на горах, купцы да заводчики как хотят, так и куро-леса, но вся сила их с Расеи сюда по одной-единственной жиле течёт – по Чусовой! Кто на Чусовой хозяин, тот у становой жилы любого купца и заводчика нож держит и заставляет его плясать, как для дела нужно!

– Для какого дела? – тотчас с презрением спросил Осташа.

– Для дела нашей веры! Чьим иждивением скиты живут? Манны себе пока не вымолили!

У Осташа от таких слов дрогнуло в коленях. Он чуть отступил, сжимая кулаки.

– Слышал я уже сказки об этом... – хрипло сказал он. – А батя мой говорил, что не может того быть! Это церковники-никонианцы власть без правды и без искупления забрали, а наша вера того не приемлет. Или ты, дядя Конон, в единоверие склонился? Наша вера за власть и волю всегда ответ держит! Аввакум в Пустозёрске заживо сожжён!.. Коли ты про такую власть свою говоришь – докажи! Ведь сами у меня за батю доказательств требуете! Докажи, чем платишь за тех, кого на сплаве убить приговорил? Что-то ты, и от сплава отойдя, в скиты не подался грехи замаливать, да и другие не побираются!

– А веру держать? Веру-то? Это не искупление, что ли? – зарычал Калистрат, но ни Осташа, ни Конон на него не оглянулись.

– Вера на крови праведников стоит, а не на жертвах безвинных! – Осташа гневно глядел на Конона. – Пугач тоже кричал, что царём будет самым добрым, да только и ближних своих сгубил, не то что прочий народ! Ежли правда то, что ты говоришь, – то отступник ты хуже Никона и душегубец, как Пугач!

– С Пугачом меня не равняй! Пугач – царёв ургалан языческий! – Конон повёл рукой, словно отгонял от себя морок. – В нашем деле каждый своё платит – и я, и заводчик, и сплавщик, что барку бьёт. А как сплавщик платит – тебе того знать не надо. Тебя в сплавщики не возьмут.

– То-то батя и не шёл к тебе!

– И без Перехода обошлись!..

Калистрат ловил глазами глаза Осташа, но Осташе уже не было дело до него, если сам Конон заговорил.

– Я ведь не мальчик, Чусовую знаю! – скрестив от извода пальцы, предупредил Осташа. – Будь у тебя хоть три башки, дядя Конон, всё одно не угадать тебе, какая барка пробежит, а какая на бойце убьётся! Хоть сто приказов дай, а Чусовая по-своему сделает! Не на чем стоять твоей власти, потому что над Чусовой ты не властен! Чусовую не заколдуешь, чтоб как собака служила!

– Всё можно, – закрывая глаза, тихо сказал Конон.

– Сгинул же Переход, праведник, в сраме и смраде, – добавил Калистрат в подтверждение.

– Думай, чего помелом поганым метёшь! – рявкнул Конон.

– Ага-а!.. – Осташа даже присел, поражённо глядя на Калистрата. – А мне ведь говорили уже, что дело тут подлое!..

– Перехода гордыня сгубила, – высокомерно сказал Калистрат.

Конон нахмурился и опустил голову, сжал ладони на рукоятке своего посоха.

– Переход оту́ром хотел Разбойник пройти... – продолжал Калистрат.

– Можно Разбойник оту́ром пройти! – опять перебил Осташа. – Я сам с бате́й в первый раз его оту́ром прошёл! Дай мне барку – я снова оту́ром пройду! Ведь не дашь!.. Если я оту́ром пройду Разбойник – все поймут, что вы батю сгубили! Без царёвой казны поймут!

– Да иди! – поднимая лицо, с холодным презрением ответил Конон. – Найди барку и иди! Хоть волчком вокруг Разбойника увейся! Все равно тебе сплавщиком не быть!

– На ваш лад и не надо мне! – отбрасывая последние надежды, отказался Осташа и попятился. – Понял я, дядя Конон, что богомерзкое дело ты затеял и ведёшь его с успехом, раз совесть и честь сплавщицкую похерил без страха! Да ладно. На дела твои мне – как и тебе на меня – плевать! Сам перед богом ответишь. Но имя батина тебе на поруганье я не оставлю! Правду мне один добрый человек говорил – повязано тут у тебя всё! И сплавщики, и казна царская, и батина смерть! Я у тебя до кишок докопаюсь! Знаю я, что Гусевы, Сашка и Яшка-Фармазон, живы остались! Яшку сам я видал и даже из торбы его крестиками родильными от сплавщиков разжился! Кто их у сплавщиков собирал, а? На что? Не пояснишь мне? При чём тут батя и казна, не растолкуешь? Радуйся, что сейчас я ничего ещё не понимаю, – но я пойму, обещаю тебе!..

Лицо у Конона окаменело, когда Осташа сказал о крестиках и Гусевых. Осташа отступил ещё на пару шагов – чтобы Калистрат не схватил его. Впрочем, от Калистрата, наверное, Осташа мог бы и сам отбиться. Но кто знает, сколько мужиков у Конона в домине сейчас за ставнями прячется? Хорошо, хоть Прошка со двора убрался.

– Эх, дядя Конон! – издалека крикнул Осташа. – А ведь и ты честным сплавщиком был когда-то! Барку вёл мимо бойцов и думал только о том, как барку не убить, – не важно, чей груз она везла! Что за бес в тебя вселился? Чего тебе не хватало-то? И даже если для веры нашей ты мзду собираешь – не впрок это! Душу губишь! Таким служеньем на крови ты веру только порочишь хуже попов никонианских!..

Осташа пригнулся – над его головой, вращаясь, пролетела палка Конона.

– Калистратка, лови его! – рыкнул Конон.

Но Осташа не стал ждать, развернулся и помчался к воротам, плечом вышиб калитку и дунул прочь от Угольной горы.

МЕЖЕУМОК

Осташе повезло: потолкавшись на Ревдинской пристани, он отыскал оказию. Федька Мильков, приказчик илимского купца Сысолятина, собирал бурлаков на межеумок до Илима. Сысолятин богател тем, что скупал оставшийся от Ирбитской ярмарки лежалый и нераспроданный товар, который после весеннего сплава падал в цене даже ниже, чем стоил хозяину. Осташа и так был доволен оказией, но удачей оказалось то, что межеумок вёл Алфёрка Гилёв – молодой сплавщик, чей родильный крестик потерял Яшка-Фармазон.

Руки у Конона были длинные, потому Осташа ночевал в шитике посреди пруда, опустив на дно лиственничную якорницу. На пруду было спокойнее. По дальнему берегу, под Сороковой горой вдоль плотбища и пристани горели костры. Огни отражались в воде длинными языками. По слободкам брехали собаки, но молчал, не грохотал остановленный завод. Трубы не пыхали пламенем, дым не мутил неба, исколотого звёздами. Горы чернели угрюмые, словно угроза, только у Волчихи под луной светилось покатое плечо, как лощёное.

Осташа скорчился на дне лодки под коротким зипуном. Он думал про Конона, про батю, про себя. Отчего ему нет в жизни пути? Будто малец, которому пора уже самому топать, а мать ножом меж ног по земле не черкнула, пути не перерезала. Бедовик он, что ли, который всем несчастье приносит и от которого все отрещиваются? Нет, в бедовость свою Осташа не верил.

Если даже Конону Шелегину на сплавщицкую честь плевать, то дело только в царёвой казне. Прав дядя Флегонт. Батя один знал, где она запрятана, и батю берегли. Но вот что-то случилось, батя стал не нужен – и его сгубили. А что случилось? А, наверное, ничего не случилось. Просто Конон понял, что батя не скажет о казне, и всё. Ничем батю не заставишь сказать. И вот тогда взялись за него, за Осташу.

Да, батя не открыл ему, где спрятан клад. Но Осташа мог что-то видеть, что-то слышать, о чём-то догадаться. Клад – вещь колдовская, он и сам, без бати, мог на Осташу отозваться. И теперь Осташу хотят заставить пройти эту дорогу до конца – найти золото. Ему легче, чем всем остальным. И потому для него перекрыли путь на барку. Найдёшь казну – будешь сплавщиком. Не найдёшь – сгинешь. А бояться, что Осташа с казной утечёт, глупо. Куда убежишь от скитов, между которых по всем трактам, по всем тропам ходят тайные люди – кто с книгами в котомке, кто с кистенём в рукаве? Можно просидеть на золоте в какой-нибудь глуши год или два, как дырники сидят, но всё равно потом выйдешь, покажешься, и тебя отыщут. Только разговор тогда будет короткий.

А что делать? Казну Осташа никому не отдаст, потому что батя не отдал, а батя лучше Осташа понимал, чего можно делать, а чего нельзя. И как же без казны стать сплавщиком, если Конон не пускает, сплавной староста мстит, денег на свою барку нет и не найдётся, а имя Переходов по всей Чусовой ославлено? Если уж купцов в оврагах не караулить, чтобы денег на барку добыть, то выход один: вернуть имя. А чтобы имя вернуть, надо доказать, что батю убили. Доказать можно, если Разбойник отуром пройти... Но для того нужна барка, а её нету!.. И убивцев, получается, тоже нету, ведь никто батю не стрелял, не давил, не рубил... Чего делать, кого искать, как быть?.. И дальше Осташины мысли расплзались во все стороны.

Эх, сейчас бы о том с дядей Флегонтом потолковать... Но Чусовая – длинная, за ответом на каждый вопрос не будешь грести триста вёрст. Думай сам, решай сам. «Я главное знаю, – сказал себе Осташа, – а уж как под это главное всё остальное расставить, чтобы ладно вышло, скумекаю – не дурак. Все тайны от лукавого. Вот и буду хвататься за каждую и разгадывать. Здесь любой узелок к общей отгадке ведёт, потому что весь клубок вокруг единой сердцевины накручен – вокруг царёвой казны. И нечего метаться как курице в курятнике. Богу веришь – бога слушай. Он мне послал Алфёрку Гилёва: чем тайна родильных крестиков хуже тайны оживших Гусевых? Вот за эту тайну и возьмусь. Даст бог день, даст бог хлеб».

Осташа приподнялся на локте, попил воды из пригоршни и улёгся вновь, перевернувшись на другой бок. И уснул мгновенно, плотно, словно рукой мертвеца обведённый.

На рассвете открыли затвор плотины, прудовая вода пошла в Чусовую, и Осташин шитик потянуло к водосливу. Осташа проснулся от поскрипыванья натянутой верёвки якорницы.

...Купцы почти до полудня ждали, пока пруд налёт обсохшую на жарё Чусовую, чтобы отвалил демидовский караван из пяти полубарков. Ещё почти час пришлось ждать, пока издали донесётся выстрел с вершины Лебедевой Толчеи – бойца весной опасного, а сейчас просто муторного. Это означало, что демидовский караван прошёл. Скрежеща цепями, затворы над водосливами поползли вниз, а купеческие суда тоже тронулись, толкая друг друга и сцепляясь гребями под брань бурлаков и сплавщиков.

Сысолятинский межеумок побежал первым, никого не задев. Был он широкий и плоский, как сковорода, чтобы не погружаться в воду глубже, чем на восемь вершков, и пореже садиться на огрудки. По носу и по корме его поверху перестилали палубы, на которых у парных гребей стояли бурлаки. Посередке, над открытым льялом, двускатной палаткой на коне был натянут полог из парусовки. Скамейку свою Алфёр велел поставить перед пологом, как обычно делали меженные сплавщики.

«Всего-то единый раз сам сплавщиком прошёл этой весной, а уже меженным отправляют...» – хмуро и завистливо думал Осташа про Алфёра, налегая на гребь. В меженные, летние сплавщики брали только самых опытных. В межень хоть и не опасно, зато река почти непроходима. Если заводчик решал свой малый караван отправить в межень, то спускал пруды, «наливая» Чусовую. Иначе сидеть его полубаркам на мелях до осеннего половодья. Под такие спуски воды и старались подгадать купцы, бесправные на Чусовой. Федька Мильников, сысолятинский приказчик, не зря споил в кабаке плотинному мастерку три четверти водки: выведал, когда Демиды прикажут сделать спуск. Вон Федька – лежит с перепоя на кормовой палубе ничком и только блюёт за борт.

На весенний сплав Осташе в этом году сходить не пришлось, и потому так отраднo было хоть сейчас постоять на свежих досках палубы, ощущая, как судно несёт течением. Струились мимо весёлые травяные горки, окутанные густым медвяным духом, приземистые скалы, частые деревни плотно населённых демидовских вотчин. Солнце палило, будто жара нынешним летом застряла на Чусовой, точно барка на отмели. Осташа чувствовал, как под руками упруго выгибается и поскрипывает гребь. Сплавная работа лечила душу, смывала с неё обиду и зависть, словно грязь с подошв.

Чего уж злиться на Алфёрку? Ну, повезло ему. Гилёвы на Чусовой были семьёй сплавщиков многочисленной и уважаемой. Подлюсти за ними не водилось, и свою дань мертвецами они заплатили Чусовой сполна. Ниже Сулёма на Чусовой даже стоит боец, прозванный Гилёвским: здесь лет двадцать назад за три года утонуло три сплавщика из Гилёвых. Алфёрка в свою породу пошёл: все Гилёвы коренастые, короткие, какие-то круглые. Алфёр Осташе по годам примерно ровней приходился, разве чуток постарше, но выглядел совсем как подросток. Держался он с ранней мужицкой солидностью, не напускной, а семейной. Гилёвы все такие были, но у Алфёрки выходило как-то потешно. Осташа усмехался и поглядывал через плечо на то, как Алфёр командует, стоя на скамейке, как он всматривается в реку и морщит чистый мальчишечий лобик.

И всё же межеумок оставался межеумком, а не огромной баркой. На барке у одной потеси стоят по десять бурлаков, а тут на всё судно вместе со сплавщиком было только девять человек. Правой гребью работал здоровенный парняга из Ревды, Осип. Оська только ломался возрастом на мужика, а потому всё время сердито молчал, боясь своего надтреснутого баска. На пристани его провожала матушка, совала ему узелок, а он отворачивался, прятался. На борт поднялся весь красный, бросил узелок на тюки под навесом и сразу вцепился в гребь. Судя по силище, выйдет из него года через три знатный подгубщик.

Узелок заботливо прибрала молодая беременная баба, стоявшая на гребни рядом с Оськой. Баба была из мелких, а живот её под сарафаном так знакомо округлился, что только дурак бы не догадался: баба – жена Алфёрки Гилёва. Алфёрка на бабу не глядел. На левой кормовой гребни работала другая баба, высокая, плоская и широкая. Эта, видать, была заводская, изробленнная. В груди у неё хрипело, а на сером лице горел ядовитый румянец. Рядом с чахоточной Алфёр поставил мужичонку из проштрафившихся конторских. Конторский был в драном сюртуке на голое тело и с бабьим платком поперёк плечи. Он тихо стонал и охал, косился на Федьку: вчера вместе плотинного спаивали, а сегодня опохмелки нет. Третьим из Федькиных кабацких подручников был Платоха Мезенцев, старый бурлак. Федька прокутил деньги, положенные на Платохинова напарника, и сейчас Платоха грёб один, только дико таращил глаза, будто ни за что в пекло попал.

Осташе в напарницы пришлась резвая бабёшка Фиска из Северки. Фиска второй год жила соломенной вдовой от мужа с забритым лбом, и жизнь её, похоже, катилась колесом по кочкам. Под Фискиным задорным глазом темнел свежий синяк.

– Ох, люблю раскольничков, молодых-холостых-неженатых! – приговаривала Фиска, подмигивая Остахе подбитым глазом. – Ох, повезло мне с соседусшкой, по стати вижу: мужичок, всё торчок! Ну, Осташка, не дай промашку! Любо, вижу, тебе с бабицей-то туда-сюда гребло толкать?

Осташа не отвечал, но ему постыдно нравились Фискины срамные намёки. От Фиски уже с утра пахло водкой, и потому для Осташи она была как бы дозволенной бабой: всё равно добро пропадает. Осташа мельком, но цепко осмотрел её: и на рожу хороша, пусть и с припечаткой, и груди под сарафаном колышутся, как тугое коровье вымя, и крепкий зад растягивает подол – того гляди, треснет. От Фиски так и тянуло ласковым паскудством, в котором Осташа поскользнулся, но не спешил выправляться: что с гнильцой, то сладенькое.

– Двугривенным-то тебя свёкор одарил? – с усмешкой спросил он. – Щербатая деньга к прибытку?

– А-а!.. – Фиска махнула рукой и звонко рассмеялась, словно горох просыпала. – Свёкор у меня давно на кокуе под голбцом червей кормит. Сирота я, сирота горемычная, никто не приласкает, по голове не погладит! Выискался тут один молодец с красных крылец, на миру песни пел, на юру дрыном поддел... Пожалел бы ты меня, раскольничек, нету мне любви на этом свете! Ничего мне не надо, кроме слова ласкового, прибегу – только свистни!

– Свистеть на судне – к беде, – буркнул Осташа, заметив, как укоризненно глянула на него беременная жена Алфёра.

Ревдинская вода растеклась по Чусовой вёрст на двадцать и бодро проносила суда над отмелями и огрудками. Алфёр командовал толково. Сам Осташа шёл бы не так, но и Алфёр умело огибал донные валуны и стороной обходил скалы. Только пару раз межеумок громыхнул днищем на каменистых ершах.

На длинном плёсе вдоль Магнитных гор, сплошь издырявленных копиями, Алфёрова жена обнесла бурлаков сухарями. Бурлакам купец Сысолятин всегда нравился за то, что на своих судах кормил работников за свой кошт. Опустив глаза, Алфёрова жена протянула Остахе раскрытый мешочек и тихо сказала:

– Кушайте, Остафий Петрович.

«Выходит, Алфёр узнал меня», – подумал Осташа, обмакивая сухарь в воду за бортом.

В синевато-красном, воспалённом дыму сухого заката проплыл знакомый Остахе Билимбай: ряды судов вдоль причалов и кирпичные трубы завода за побелевшими кровлями изб. Ревдинский караван сделал хватку на устье речки Битима, но Алфёр повёл межеумок дальше. Остахе было понятно почему. Ещё у Шайтанских заводов Федька Мильков наконец поднялся и взялся за гребь рядом с Платохой, взбодрённый близостью кабака. Осташа усмехнулся хитрости Алфёра: сам бы он попросту причалил за ревдинцами, а Федьке дал бы в зубы. Но Алфёр

решил увести межеумок подальше от жилья. Проплыли Коновалову деревню, Вересовку, Крылосову, и уже в темноте зачалились у берега вслед за камнем Нижний Зайчик. Разозлившийся Федька молча спрыгнул с борта на мелководье и, не дожидаясь костра, утопал по тропе за скалу. Алфёр только тяжело вздохнул.

Мужики пошли за дровами, запалили огонь. Алфёрова жена и Фиска засуетились у котла. Осташа вырезал из лещины удилице, высучил из рукава нитку, отцепил от шапки крючок и забрался на камень порыбачить. Затихшая река, подёрнутая тонким прозрачным дымком, в темноте казалась даже чуть выпуклой. Сзади подошёл Алфёр.

– Дозволишь присоседиться, Петрович? – негромко спросил он.

– Садись, камень не казённый.

Алфёр присел рядом, долго глядел на неподвижный берестяной поплавок-бабашку, словно вплавленный в блестящую воду.

– Что, Петрович, не сложилось у тебя дело с Кононом? – спросил наконец Алфёр. – В Ревде все рассказывают, как Конон в тебя костылём кинул...

– Сам видишь: ты на скамейке, я на кочетках.

– Меня хоть и взяли, но я не от того тебе скажу – к лучшему это, – вдруг произнёс Алфёр. – Не думай, на Чусовой не все верят, что Переход барку убил и казну украл.

– Да мне уж и разницы нет, чему верят, чему не верят, – зло ответил Осташа, дёргая лесу.

– Это не ты, это обида твоя говорит. Я тебе не враг, не соперник. Меня батюшка в смиреннии, в уважительности воспитывал. На Чусовой всем места хватит. Ты послушай...

– Ну, слушаю, – согласился Осташа.

– Если ты хочешь сплавщиком стать, тебе не имя Перехода обелять надо, а в Кононов толк перекинуться... Все сплавщики, что под Кононом, – в его толке...

– Истяжлецы, что ли? Новые-то?

– Да они не новые... У нас в Сулеме до Весёлых гор близко, мы про них многое знаем, чего дальше не расходится. Истяжельство ещё старец Иова, давно покойный, завёл, и у него в послушниках Прончище Метёлкин был – слышал о нём?

– Это который с Дегтярских рудников? Он после Пугача тоже себя Петром Фёдоровичем объявлял, только разгуляться ему не дали, сразу схватили и в Екатеринбурге повесили, да?

– Он. Только по толку истязельческому он и вправду Петром Фёдоровичем был...

– Не много ли Петров Фёдоровичей-то? И Пугачёв, и Метёлкин, и Богомолов на Волге? Как ещё Андреян Плотников, Золотой Атаман, себя царём не назначил-то?..

– Не в том дело. Мне вот нельзя говорить-то, а я тебе говорю, так ты слушай... Иова свой завет старцу Гермону передал. Метёлкин-то и бегал между старцем Гермоном и Мироном Галаниным, между Мироном и Кононом Шелегиным, между Кононом и Гермоном... Мирон в конце концов признал истязельчество – значит, есть за ним правда. Мирона Галанина не обманешь. Всё это чуть-чуть до Пугача было... Ну а после Пугача Прончище и попробовал подняться, пока народ ещё взбаламучен был, только ему сразу голову скрутили. А толк Иовы Гермон давно под себя перевёл. Конон у него в первых последователях, даже Крицына Калистрата, зятя своего, уставщиком поставил. Так что если хочешь в сплавщики – иди лучше к старцу Гермону за Потную Горку. Гермону ведь до Перехода дела нет, он о Переходе небось и не слышал вовсе. Возьмёт тебя. А Конону только соглашаться останется.

Осташа очень удивился, что есть ещё какой-то способ попасть в сплавщики, о котором он и не догадывался. Он глянул на Алфёра. Алфёр следил за поплавком.

– Ключёт, – Алфёр кивнул на бабашку.

Осташа ожесточённо выбросил удочку в реку.

– Вера – не лишай, на сучок не переведёшь, – со злобой сказал он. – Её даже ради хорошего дела менять – всё одно отступничество. Ты бы мне ещё посоветовал в магометане податься.

– Вот и я о том же. Радуйся, что не берут тебя в сплавщики, потому что вера твоя целее. Алфёр всё так же глядел на воду, словно и не заметил отсутствия поплавок.

– Что же за толк такой – истязельчество? – осторожно спросил Осташа.

– Того мне говорить нельзя... Да я порядком и не распознал ещё. Я же только-только после Крещения таинство принял, полгода всего... Знаешь, кто обмирал, да выжил – тот свет видал. Он всё бы о нём рассказал, да как дойдёт до трёх заветных слов – так язык коснеет. Вот и у меня с истязельством так же. Но одно я понял, главное: то, как этим толком Конон промышляет, – ересь. Душе погибель. Не суйся туда. Обратно уйти не дадут. Дорожка только в один конец. А кто с чертями связался, тому всегда чертям работу надо давать, иначе разорвут. В нашей вере толк истязельский – как Пугач на царствии, хотя по истязельчеству Пугач – царь по праву. У истязельцов смирение убито и гордыня верх взяла, чего человеку от бога не положено. А у тебя батюшка тебе ясно ответ давал, как сплавщиком быть. Трудно, конечно, только сам помни завет нашей веры: беги от торных путей. Вера в удалении неколебима.

Алфёр подтянул ноги, обхватил их руками и положил подбородок на колени. Он молча глядел куда-то за реку, за берёзовый перелесок на другом берегу. Осташа не знал, чего сделать, чего сказать. Ночь была тихая, тёплая, звёздная. У костра гомонили мужики, дождавшиеся Федьки со жбаном, слышался хохот Фиски. Чусовая нежным, бабым изгибом уходила за поворот. Надутым рыбьим пузырьком белел взлобок скалы со смешным именем Нижний Зайчик. Хоть и камень, хоть и чусовской боец, а никакой не боец. Настоящие бойцы там, дальше, за Гуляй-камнем – в угрюмой вайлуге стиснули горло реки, вывернув кривые локти под ветер-лесобой. И там, в горах, в еловых уймах, на свет из подземных скитов, как змеи из нор, выползают толки один уродливее другого, словно вера Аввакумова истлела, как мшара на жарё, и вместо сокровища в кладовой яме только смрад и мертвецы.

– Алфёр Иванович, Остафий Петрович, ужинать жалуйте, – позвала сзади Алфёрова жена.

– Идём-идём, Ефимья Ивановна, – ответил Алфёр.

– Постой. – Осташа вдруг схватил Алфёра за рукав. – Хочешь, я сейчас у Федьки жбан растопчу и в глаз ему дам?..

– Да бог с ними со всеми, – отмахнулся Алфёр. – У каждого своя радость...

И Осташе стало понятно, что заботиться пьяными или похмельными бурлаками Алфёру просто тьфу в сравнении с бедой, в которую он попал.

Алфёр ушёл в хворостяной шалаш-бугру на опушке поляны, и Ефимья отнесла ему ужин в шалаш. Осташа уселся возле костра. Оська, намаевшись, уже уснул голодным. Чахоточная баба отошла в сторонку. Федька Мильков браги не жалел, и конторский мужичишка скособочился, как гриб-сморчок, задрёмывая между Федькой и Платохой.

– Я на мережу вот такого сома брал!.. – горячась, доказывал Федька Платохе и широко разводил руки.

– Да брешешь, – гудел Платоха. – Сом? На мережу? Такого?..

– В запрошлом году брал, провалиться мне! С Холостяка на Сулёмском плёсе прямо в Купальную ночь! В яме сразу за Холостяком, у Песьянова ручья! Я, дурак, обругал его, сомато, – а сом у водяного конь, водяной мне все леса и заплёл бородой! Ераску Беспалого в Илиме знаешь? Вот спроси у него – было!

Пьяненькая Фиска визгливо смеялась, махая на мужиков рукой, словно говорила им: «Да ну вас, вралеи!» Но Федька с Платохой спорили для себя, на Фиску не смотрели. Осташа, отвернувшись, чтобы не поганить еду, быстро сметал затируху. Он всё ещё перебирал в уме слова Алфёра, будто искал Алфёровой тоске другое объяснение, попроще, чтобы не осквернить мечту. Но ничего не придумывалось. Осташе хотелось вскочить, распинать костёр, нахлобучить жбан Федьке на башку так, чтобы клёпки разъехали лепестками. Хотелось хоть что-то сделать, отомстить за то, что кто-то уже успел излапать его веру.

Фиска мягко навалилась на плечо Осташи своим плечом; изогнувшись, приникла горячим боком.

– Ой, раскольничек, подмёрзла я что-то, – сладко пробормотала она. – Погрел бы ты меня, что ли, полой вон кафтана закинул...

– Пошли в лес, погрею, – вдруг хрипло сказал ей Осташа.

– Да верить-то вам... – жеманилась Фиска. – Заведёшь за куст, а там: «Грех, грех!» – и бежать...

– Сама не убеги, – недобро предупредил Осташа.

Фиска пьяно и размыто посмотрела Осташе в лицо, ничего не заметила. Закряхтев, она оттолкнулась от Осташи и поднялась на ноги, одёрнула подол. Осташа тоже встал и сразу шагнул в темноту от костра, дёрнул Фиску за руку. Платоха и Федька, похоже, и внимания на них не обратили.

Никешка Долматов в первый раз поймел бабу у себя в Кумыше в бурьяне за банями, а потом двадцать раз рассказывал об этом Осташе, перебирая все мелочи. Он сам дивился своей отваге и поражался, как это всё у него получилось, если он перед бабой трусил, будто чёрт перед петушиным криком. Но Осташа сейчас ни о чём таком и не думал. Он был точно ядро, выстреленное из пушки, – ему надо было ударить всем телом со всего разгона во что-нибудь живое, и чтобы сразу вдребезги. Он толкнул испуганно охнувшую Фиску в дерезняк, повалил на папорот и сам навалился сверху, стискивая бабу и со страстью, и с ненавистью. Ему эта любовь была вовсе не любовью, а точно он кол в колдуна заколачивал. И нарыв прорвался, затопив острой и сладкой болью, а потом уж стало можно вздохнуть.

Осташа сполз с Фиски и встал на колени, подтягивая штаны и завязывая на брюхе верёвочку. Фиска тоже села, некрасиво раздвинув и подогнув голые, полные, белые в темноте ноги. Платок её сбился на левое ухо, растрёпанные волосы волной укрыли подбитый глаз, губы размазались по лицу.

– Так, что ли, да?... – спросила Фиска и заревела. – Так, что ли?... Да что же я сделала-то тебе? Да за что же ты меня?... Господи, что за жизнь такая – без детёнка, без мужика!.. В петле слаще!.. Да что же вы все, мужики, злые-то такие, кто вас сглазил?..

Осташа смотрел на плачущую Фиску, и ему было и жалко, и противно, и стыдно, и досадно. Он поднялся на ноги.

– Ну, чего ты, – пробурчал он и наклонился, подавая руку. – Давай вставай...

– Да уйди ты, постылый, – тихо сказала Фиска.

Осташа распрямился, стискивая челюсти, со свистом выдохнул, развернулся и пошагал прочь. Нет, не того он ожидал от бабьей любви... Он плюнул на пень, как в чью-то рожу. О таком он с Фиской не договаривался. Полюбились – и в стороны, обоюдно довольные. И больше ничего. Её печали – не его забота. Но саднили душу вскользь брошенные жестокие слова: «Кто сглазил?» А никто не сглазил. Просто, если б не Пугач, не такой была бы у него первая любовь с Маруськой Зырянкиной.

Осташа молча прошагал мимо костра. Федька с Платохой, ничего не заметив, всё спорили про стерлядок и лещей. Осташа перепрыгнул с берега на палубу межеумка, во льяле достал из-за тюков свою котомку и лёг на доски, ткнув барахло под голову. Хрустнула в котомке бумага яйцкой грамоты, звякнули крестики.

«А кресты, видать, истяжлецы с себя и отдают Конону», – подумал Осташа, засыпая. И ему уже сразу начало сниться, что он вернулся домой, а бати нету, и всё унесли воры, только кивот не тронули.

ЗА КАМНЕМ ЧЕГЕН

Федьке нос разъело, и теперь добром его уже было не остановить. С утра он с Платохой опохмелялся, а потом всё катилось по наезженной дорожке. К обеду Федька и Назарыч, конторский пьянчужка, уже валялись на палубе, а Платоха подносил Фиске. К ночи Платоха и Фиска падали, а Федька вставал. Он исхитрялся добывать хмельное чуть ли не в глухом лесу. В Уткинской Слободе, на Каменской пристани, в Трёке и в Курье он вообще бежал за межеумком по берегу и заскакивал в попутные кабаки.

Алфёр день простоял в Старой Утке, ожидая спуска воды из пруда для каравана Сылвенского завода. Когда же воду пустили, Федьку, Платоху, Назарыча, Фиску и молодого Оську, которого Федька потихоньку прибирал к рукам, Алфёр не смог найти даже по кружалам. «Дак сам смотри, сплавщик, что за пристань!.. – орал потом пьяный Федька, пытаясь обнять Алфёра. – Винокуренным бойцом начинается, Бражкиным кончается!.. Куды деваться хрещё-ному?..»

Воду Алфёр упустил, и ниже бойца Слизкого потянулись броды, отмели, огрудки. Межеумок забренчал дном по каменистым ершам. За трухлявыми глыбами Дыроватого камня возле устья ручья Крутой Лог навстречу межеумку попался рудный обоз. Две лошади, впряжённые цугом, шагали по мелководью и тянули вверх по течению большую лодку, нагруженную рудой с недалёкого Пестерёвского рудника. Межеумок тащило прямо на обоз. Возчик заругался, замахал шапкой, заметался в воде вокруг лошадей. Лошади шарахнулись к берегу, и он отскочил в сторону.

– Э-эх, савраски!.. – умиленно застонал Платоха, налёг на гребь и затабанил, чтобы межеумок прошёл правее.

– Куда-а?!.. – заорал Осташа.

Он работал носовой левой гребью; Алфёр, махнув рукой на сплавщицкий гонор, ворочал правую носовую гребь. На корме слева стояли чахоточная и Алфёрова жена. Федька с Фиской пили под навесом, Назарыч валялся тюком, Оська корчился в судорогах рвоты над бортом. Межеумок грузно разворачивало на мелком стрежне и волокло кормой на буруны недалёкого перебора Чегён.

Чегеном его прозвали не зря. В межень перебор обсыхал так, что посреди реки выступал длинный остров – огрудок. Проходить перебор надо было впритирку к правому берегу, по дуге. Суда не всегда успевали отгрести и развернуться, а потому их забрасывало водой на галечниковые отмели вокруг огрудка. Сниматься с них приходилось с чегенями – с длинными и крепкими жердями вроде ваг, которыми пни корчуют. Чегени подсовывали под дно и приподнимали судно, сталкивая на глубокую воду. Камнем Чеген звали низкие, бурые, замшелые скалы перед островом; ручьём Чегени – речушку за камнем. По берегам этой речушки все хорошие сосны давно были порублены бурлаками на слуги.

Межеумок бортом вперёд вынесло на перебор. Вокруг запрыгали мелкие волны. Под днищем забабахали камни. Судно затряслось, теряя ход, наконец с шорохом и хрустом обессиленно заползло на мель и намертво встало, выпустив вниз по течению длинный поток пузырей и мути.

Осташа поднял гребь и бросил на доски палубы. Алфёр молча опустил руки, отвернулся к берегу, заросшему непролазной дрёмой, и понуро замер возле огнива.

– Ты уж меня не останавливай, – сквозь зубы тихо сказал Осташа Алфёру, вытащил из-под сплавщицкой скамейки длинную палку с вершковыми зарубками – ею Алфёр измерял глубину – и пошёл на корму.

Платоха чесал башку, глядя на перебор. Осташа, не окликая, кулаком смазал его по уху, и бурлак без вопля бултыхнулся за борт. Осташа шагнул к Оське, висящему над водой, и ногой

дал в зад – Оська, замычав, тоже кувыркнулся в воду. Откинув полог навеса, Осташа спрыгнул в льяло.

– Что там за беда?.. – начал было для куража гневаться Федька, вальяжно лежавший на тюках. Осташа молча цапнул его за бороду и поволок наверх, а ногой безжалостно раздавил плоский бочонок-клягу с хмельным.

– Ты чего, сучонок, творишь?!.. – заорал Федька, не успевая встать с карачек. – Пока-лечу!..

Осташа толкнул его спиной вперёд прочь с борта и пнул вдогонку шапку, свалившуюся с Федькиной макушки.

Фиска суетливо ползала по тюкам под навесом, что-то быстро собирала. Осташа с наслаждением огрел её палкой по спине, потом по круглой жопе и снова поперёк хребта. Фиска птицей вылетела из-под навеса. Осташа замахнулся снова и принялся охаживать Назарыча. Старик, ничего не соображая, закрывался руками. Осташа сгрёб его в охапку, вынес и бухнул за борт вслед за всеми прочими, а потом начал выкидывать и чегени, заранее заготовленные и сложенные с краю поверх груза. Только после этого на душе его стало горячо и чисто, и он тоже спрыгнул в воду.

Алфёрова жена и чахоточная баба уже стояли у борта рядом с очухавшимися бурлаками. Сам Алфёр выуживал расплывшиеся ваги. Глубина здесь была – по колено. Федька, нагнувшись, шумно пил из ладоней, Оська дрожащей рукой вытирал рот, Фиска перевязывала платок.

– Ловок ты руками махать, – одобрительно пробурчал Платоха, выжимая бороду.

– На сплаве у Трёки народ от хмельного трёкается! – тяжело дыша, прорычал Осташа. – А вы, сапожники, что за гульбу развели? Вот теперь давайте судно снимать. – Он перевёл дух. – Командуй, сплавщик...

Над обмелевшей излучиной, над грязными кустами островка носились стрижи. Чусовая широко журчала по всему пространству перебора – певуче на галечнике и с ворчливым рокотом на стрежне под вогнутым берегом с нечёсанными космами урёмы. Позади, на склоне над поворотом, светлели, как протёртые, каменные выступы Чегена. Облака сгрудились вдали на западе, словно ушедший вперёд караван.

Фиска и чахоточная баба отцепили от борта межеумка длинный открыл из широкой доски – неволю – и потащили его в сторону. Одним концом неволя была прикована к носовому пыжу межеумка. Бурлаки разбились на пары и стали втискивать под днище межеумка три длинных чегеня. Алфёр, отойдя подальше, чтобы видеть, крикнул:

– И-и... неволю... раз!

Фиска и чахоточная повернули неволю стоймя. Вода, заурчав, вздулась перед неволей, как перед плотиной. Бабы изо всех сил упёрлись руками в доску. За ними по течению потянулся язык пены, словно бабы оказались раскалёнными, и вода вскипела. Борт межеумка дрогнул и чуть приподнялся.

– Чегени – давай! – крикнул Алфёр.

Бурлаки потянули вверх свои концы чегеней. Осташа оказался в паре с Алфёровой женой – с Ефимьей. Она, хоть и беременная, налегла на работу в полную силу. Осташа видел, как напряглись её бедра под мокрым сарафаном. «Скинет младенца с натуги, дура...» – подумал он, пытаясь всю неимоверную тяжесть взять на себя. Но легко было посадить межеумок на мель – трудно сплавить. Назарыч тоненько застонал. И тут с сосущим звуком весь большой борт судна тронулся вверх, а потом сдал назад и грузно плюхнулся в воду с плеском и глухим грохотом, окатив бурлаков брызгами и волной. Фиска и чахоточная вздёрнули неволю, освобождая струе ход. Межеумок на аршин сполз ближе к стремнине. Вокруг него медленно расплзалось в воде облако рыжей донной грязи.

– Пошла!.. – радостно закричал Алфёр. – Ну, теперь ещё разов пять – и снимемся!..

– Перекурите, братцы, – вдруг раздался сзади незнакомый голос.

Бурлаки, и Осташа с ними, удивлённо оглянулись. Рядом с Алфёром по колено в воде стояли два каких-то мужика, подошедших совсем незаметно. Один был пониже ростом, даже красивый, но весь какой-то серый, стёртый, обычный; другой – рослый, вихлявый, разболтанный, с бельмом на глазу. По бельму Осташа, чуть споткнувшись в мыслях, и вспомнил его. Этот бельмастый залезал в подклет слободской церкви за укладочкой дяди Флегонта. Ощущение опасности царапнуло Осташу по лицу.

– Ты, что ли, здесь молодым сплавщиком будешь? – спросил серый и взял Алфёра за локоть. – Отойдём на бережок, переговорить тебя зовут...

– А ты кто таков?.. – убирая локоть, недовольно сказал Алфёр. – Мне с тобой разговаривать нечего, я тебя не знаю.

– Давай, не балуй, – серый потянул Алфёра за одежду.

– Эй, тебе чего надо от сплавщика нашего? – почуяв что-то нехорошее, угрюмо выпрямился Платоха, бросая в воду чеген.

– Не балуй, – негромко, убедительно повторил серый и дёрнул плечом, вытряхивая из рукава в ладонь шипастый чугунный клубок кистеня, привязанного верёвкой к запястью. Кистень – это было без шуток; за него власти простого мужика на каторгу ссылали, как за ружьё или самопал. Бельмастый молча вытащил нож и поводил им перед собой, показывая бурлакам. Алфёрова жена зажала рот руками, с ужасом глядя на пришельцев.

– Не бойсь, – исподлобья зыряка на бурлаков, сказал серый. – Поговорят, кому надо, с вашим сплавщиком, и обратно отпустят...

– Ладно, я схожу с ними, – сдавленно сказал своим Алфёр, покрасневший от принуждения и негодования. – Подождите.

Втроем они развернулись и пошлёпали по мелководью к берегу. Серый так и держал Алфёра за руку. Бельмастый настороженно оглянулся, но бурлаки как стояли у чегеней, так и стояли, молчали. Только Чусовая журчала, обтекая межеумок и остров с колтуном кустов на заливке.

По берегу мужики повели Алфёра к камню Чеген, потом указали тропинку наверх. Видимо, тот, кто хотел переговорить со сплавщиком, прятался в мелких ёлочках над обрывом.

– У меня в шитике штуцер есть, – Осташа посмотрел на Платоха.

Осташин шитик лежал на межеумке в мурье – в узком пространстве между грузом и палубой, где бурлаки обычно хранили свой скarb. Но Платоха прищурился на мужиков, что карабкались вверх по откосу берега, и сплюнул в воду:

– Уже поздно... А может, ещё рано. Подождём на бережку.

Бурлаки побросали чегени, гурьбой побрели к приплёску и расселись на больших камнях, валявшихся в траве. Назарыч покряхтывал – то ли надорвался, то ли сочувствовал Алфёру. Осташа ещё раздумывал: не достать ли ему всё-таки штуцер?.. Не нравилась ему эта встреча. Тайком выследили, отвели в сторону, неизвестно, к кому и зачем... Опять эти гнетущие тайны.

Алфёрова жена медленно пошла по тропинке к обрыву Чегена, не отрывая взгляда от скалы.

– Ефимья Иванна, остановись-ка, – предостерёг её Платоха.

Ефимья остановилась на полпути. И вдруг охнула.

Над обрывом Чегена затряслись ёлочки, словно в них кто-то боролся. Потом на тропку выскочили давешние мужики – серый и бельмастый. Они помчались вниз, делая такие прыжки, что башку расшибить можно вдребезги, если споткнёшься. А потом из ёлочек вывалился на обрыв Алфёр в разорванной рубахе.

– Осташка, беги-и!.. – тонко закричал он.

В Осташу словно кол вколотили – так его зажал внезапностью этого крика. При чём тут он?.. Пришли-то за Алфёром!.. Но вслед за Алфёром на обрыв вырвался ещё один мужик – кудлатый, чёрный, бородатый до глаз, с ружьём в руках. Вскинув огромное ружьё, он еди-

ным точным движением прицелился в бурлаков, застывших на камнях от изумления... Нет, не в бурлаков – на черта́ они ему сдались!.. Он прицелился в Осташу!.. Алфёр неловко толкнул мужика, и тотчас грохнул, полыхнул выстрел. Пуля гулко, сочно чокнула по камню возле Осташиных ног и свечой ушла в небо, взвихрив столбик белой каменной муки. А кудлатый мужик в ярости перехватил ружьё и прикладом что было сил ударил Алфёра в грудь. Раскинув руки, Алфёр закачался над обрывом, теряя равновесие, и канул вниз. Он перевернулся вверх ногами, ударился о каменный выступ лопатками и затылком и покатился в пыли по сполóженному подножью скалы.

– Беги! – Платоха пихнул Осташу в плечо и словно разбил стеклянную посудину. Серый и бельмастый мужики уже пролетели мимо Ефимьи и были совсем близко. Осташа перескочил через камень и бросился вдоль берега по тропе вниз по течению.

Вырывая траву, что путалась в ногах, расшвыривая кусты, перепрыгивая валуны, Осташа домчался до Ямной речки, сиганул на другую сторону, поскользнулся на топком месте и шмякнулся в грязь. Он быстро перекатился на спину, чтобы ногами в рожу встретить подбежавших мужиков. Но те перемахнули через речку чуть в стороне, только бельмастый сипло бросил:

– Мотай живее, пристрелит!..

Вдали раздался ещё один выстрел, в еловых лапах над Ямной речкой фыркнула пуля.

Осташа поднялся и припустил дальше, к Ямному камню, слыша впереди топот убегающих мужиков. Тропа полезла на склон. Осташа искровянил ладони, цепляясь за ветки, и наконец выбрался на проплешину темечка Ямного камня. Оба мужика, тяжело дыша, сидели тут же – с кистенём и ножом наготове. Они молча глядели на Осташу. Осташа, хрипя, прислонился спиной к сосне и съехал вниз, разбросав ноги.

С невысокого Ямного камня была видна вся длинная излучина Чусовой с островком, за которым застрял на мели межеумок, издалека маленький, как берестяная табакерка-та́влинка. Почти под Ямным камнем желтел и искрил пережат. За плечом из леса на береговой круче высывались ровные, как страницы, плиты бойца Сокол. Последняя плита была словно толстая книжная доска, что отсекала Чусовую ниже по течению, будто река кончилась, как дочиталась. Отчаянно-ярко сияло солнечное небо. Никто не пробирался по тропе вслед за беглецами.

Осташа увидел, что бурлаки под откосом камня Чеген обступили что-то тёмное, лежащее на земле. Так птицы толпятся вокруг выброшенной на песок рыбины.

– За тебя парень жисть-то отдал, – сказал серый Осташе, кивая в сторону Чегена.

– А кто тот чернявый, с ружьём?..

– Нам почём знать? Выловил нас и говорит: я вам ваше дело сделать помогу, а вы мне – моё. Надо, мол, судно перехватить и с него молодого сплавщика привести для разговору... Мы привели, а он давай ружьё заряжать... Мы и стреканули. На смертоубийство уговору не было.

Осташа глядел на этих мужиков – оборванных и усталых. Не было сейчас в них ничего опасного, страшного.

– А чего этот чернявый сам не вышел к сплавщику?

– Нам почём знать? – с досадой повторил мужик.

Осташа расслабился и почувствовал, что даже лицо его, набухшее страхом, обвисло.

– Чернявый-то ваш волосом кудряв, да? – обречённо спросил он. – И левым глазом на нос косит? Зовут Куприян, да?

– На левый глаз косой, а как звать – не назывался...

Это всё Гусевы, какие-то бессмертные Гусевы. К Сашке, что плыл в казёнке батиной барки, и к Яшке-Фармазону, что любился с вогулкой на заброшенном Ёквинском руднике, теперь присоединился и Чупря. Тоже живой. Интересно, а Малафейка, последний-то из Гусевых, псов, – под землёй на кладе лежит или, как и его братовья, бродит вокруг батиной тени?

– Ты, что ли, тоже сплавщик? – хмуро спросил у Осташа бельмастый.

– Сплавщик, – кивнул Осташа.

– Значит, тебя этот Куприян застрелить хотел? Побоялся, что сам ты не подойдёшь, когда рожу его увидишь...

– А мы-то не знали, – добавил серый. – Он говорит: приведите молодого сплавщика. Потолковать, говорит, хочу. Мы и привели не того, коли вы оба молодые... Мы ж не знали, чего этот Куприян задумал...

– Чупря, – поправил Осташа.

– Какая чупря?.. – не понял серый.

– Чупрей его у нас зовут. Чупря Гусев из тех Гусевых, что прятали царёву казну. Вы запомните. Если он до меня доберётся, я хочу, чтоб народ знал, кто Перехода-младшего убил.

– Вон оно что... – Серый поглядел на Осташу как-то странно: и с уважением, и с жалостью. – У вас тут каша-то позавчерашняя... Ладно, запомним. Только с нас прок малый – мы не здешние.

– А чьи? Говорите, не бойтесь. Вот его, – Осташа ткнул пальцем в бельмастого, – я уже видел в Слободе, ночью в подклете церкви...

Бельмастый усмехнулся, качая головой.

– А у нас дело про свою казну. Мы с Нейвы-речки, с Мурзинской слободы. Артель наша на целое гнездо занёбрышей вышла, накопили самоцветов – тёмпасов, шерлов, югов, хрустелей, фатисов... Мы их тайком от властей Невьянскому монастырю продаём, а уж монастырь там дальше сам торгует. Небось навар имеет впятеро против нашего – ну да ладно. В общем, обманул нас игумен с ценой, какие-то гроши заплатил. Мы решили укладочку с тальянами перехватить. Знаем, что монастырь отправляет камни попу в Слободу, а поп уже их куда-то дальше пересылает. Нас с Антипой общество и отрядило пошарить у попа. Как пошарили – сам знаешь. Тут и Чупря этот выплыл неведомо откуда. Дескать, он нам – укладку, а мы ему – сплавщика. И всё по-тихому, никому ни слова. Но мы на душегубство не согласные. Общество поймёт.

– И что, домой двинете? – спросил Осташа.

– Теперь домой, – мрачно согласился бельмастый.

– Мне бы так: не получилось – и пускай...

– Ну, кому уж – что, – пожал плечами Антип. – А мы тогда пойдём. Не взяла наша. Не наши тут правила...

Мужики переглянулись, поднялись и, не оглядываясь, пошли прочь с Ямного камня, по тропинке к бойцам Соколу и Балабану. От брода по просёлку они двинут через Пестерёвский рудник на Старую Шайтанку, от которой тракт уходит через Большие Галашки на Невьянск...

«Вот так просто встали – и ушли домой», – подумал Осташа. И ему стало завидно и тоскливо.

Ведь с каждым шагом он отступал. Вот и ещё врагов прибавилось – Чупря вынырнул из могилы. Вот и ещё друзей ubyло – убили Алфёра. Не успел Алфёр ничего рассказать о толке Конона. А Конон вот успел послать Чупрю, чтобы тот Осташу пулей взнуздал и отнял родильные крестики. Одна удача, что Чупря ошибся. Да этой удаче и радоваться-то грех. Алфёру-то за что?

Осташа снова огляделся. Мурзинские мужики ушли, он был один, и оттого стало не то чтобы страшнее, а тягостнее. Дыхание выровнялось, а душу лихорадило. Сидеть тут на Ямном камне и ждать, что ли, всю жизнь, пока Чупря подберётся поближе?..

С собой у Осташа ножа не было. Он подобрал обломанный сук с острым концом, подскоблил остриё ногтями, оборвал ветки. «Встречу Чупрю – так хоть якорину в него всажу... Кто змею убьёт, тому сорок грехов простится», – решил Осташа и полез в чащу, стараясь не хрустеть ногами по калужью.

Стороной, таясь, он обошёл излучину, не теряя Чусовой только по дальним и редким прогалам в вершинах леса. Когда по прикидке он поравнялся с Чегеном, то повернул к реке обратно. Пригибаясь за валежинами, прячась за толстыми стволами елей, густо ошетилив-

шихся мёртвой «паутинкой» тонких сухих усиков, он выбрался на взлобье камня. Мелкие ёлочки у обрыва были поломаны, мох истоптан – и всё. Чупря ушёл так же незаметно, как и появился, – точно оборотень. И жалко. Осташа уже примерился к мысли, что сейчас ему придётся суком вспороть Чупре брюхо. Осташа с досадой выбросил свой сук, тропой открыто спустился на берег и по воде напрямик пошагал к судну.

Бурлаки уже почти спихнули межеумок на глубину. Осташа молча обошёл их, забрался на борт и полез в мурью. Бурлаки ждали его, не налегая пока на чегени. Сжимая в кулаке родильный крестик с процарапанным «ЛФР ГЛВ», Осташа вышел на палубу. Бурлаки смотрели на него снизу вверх.

– Алфёр говорил, ты тоже сплавщик, да? – осторожно спросил Федька. – До Шайтанки судно доведёшь?..

– Доведу, – угрюмо согласился Осташа и спрыгнул с борта.

Никто и не заикнулся, чтобы он брался за чегень. Фиска смотрела на него вытаращенными глазами, словно бы узнала, что Осташа – сам царь Пётр Фёдорович. Но Фиска была уже в прошлом, до неё Осташе дела уже не было. И никогда больше не будет.

...Кто знал, сколько времени ещё придётся выталкивать межеумок на струю? Может, до завтра? Чтобы мёртвое тело не вздуло на солнцепёке, пришлось его притопить. Ручей Чегени подпружили насыпью, и теперь Алфёр, придавленный камнем, лежал на дне в прудочке. Его чисто промытые волосы колыхались как живые. Ходуном, словно на ветру, ходила рубаха. Странно было смотреть на Алфёра, неподвижно лежащего под водой. Что-то в том было и страшное, и сказочное, и язычное – будто сквозь воду, как сквозь окошко, Осташа смотрел на иной, чужой мир, в который ушёл Алфёр. Ушёл насовсем, но ещё недалеко удалился.

Ефимья стояла возле пруда, будто караульная. Она словно побелела лицом, даже губы исчезли. И пугающе выпирал её живот, такой неуместный рядом со смертью. Осташе было и стыдно, и тягостно, и что угодно хотелось сделать, лишь бы всё повернуть обратно. Он же не виноват!.. Он не знал, зачем мурзинские мужики потащили Алфёра на камень Чеген! Да захоти он идти вместо Алфёра, его бы не взяли, прогнали!.. Ну что же тут поделать!..

Осташа перекрестился. Хоть это он ещё мог делать без вины.

– Алфёр Иванович просить вас хотел перед смертью, чтоб вы крест родильный ему отдали, или батюшке бы принесли, чтоб в могилу зарыть... – тихо сказала Ефимья, не поворачивая головы.

Нестерпимый жар опалил душу Осташа, раскалив уши и скулы. Значит, Чупря требовал с Алфёра родильные крестики, и Алфёр понял, что они – у Осташа... Осташа вошёл в воду пруда, наклонился, чтобы Ефимья не увидела его лица, приподнял неожиданно лёгкого в воде Алфёра за плечи и надел гайтан с крестиком ему на шею. Потом положил тело обратно на песок и убрал крестик за ворот рубахи.

– Благослови вас бог, – еле слышно произнесла Ефимья и протянула Осташе плотно свёрнутый листочек бумаги, влажный от её пальцев. – Коли вы Алфёра Ивановича годами младше, он просил вам передать...

Осташа вытер руки о бока, взял листочек и развернул. Это была «Лодья несгубимая» – тайный сплавщицкий заговор на прохождение барки мимо бойцов.

Часть вторая Тайна беззакония

БОЕЦ САРАФАННЫЙ

Алфёра схоронили у деревни Родина в трёх верстах ниже Чегена. Деревня-то – две избы и два креста на лесном приплёске под хребтом Малиновая Гора. Отсюда ещё четыре версты было до Старошайтанского завода.

Осташа довёл межеумок без приключений, и Федька-приказчик побежал на пристань за сплавщиками. Но Старая Шайтанка готовилась спускать свой караван с железом Сылвы, и сплавщики почти все были разобраны. А те, что оставались, ломили за работу по рублю – деньги же Федька пропил. Вечером, поразмыслив, он снова ударил шапкой Остахе в ноги. Осташа согласился вести межеумок прямо до Илима. Федька и рад был: с Осташей на переплату по-сплавщицки уговору не шло.

Ильин день с треском ярких гроз обломил иссохшую ветку перестойного лета, и зачастили дожди. Дорога от Шайтанки до Илима была не долгой – пятнадцать вёрст – и в межень не опасной. Это по весне Владычные бойцы, Волеговские Гребни и Узенький с Мостовым обносили бревенчатыми открылами, а сейчас...

Но на переборе Пегуши перед Сарафанным бойцом их нагнала вода, спущенная Старой Шайтанкой. Словно бесы пролетели в Чусовой мимо межеумка. Река начала вздуться с просторным рокотом. Вверх кормой межеумок понесло под Высокой горой, прослоённой камнем, как расстегай. Впереди за быстройтоком появился боец Сарафанный. Под ним уже клокотало. Река, ударившись головой, как гривастый табун, сваливала влево. И Остахе сделалось жутко: впервые он проходил камень-боец один, без бати – словно из бани в прорубь окунулся.

– Левый с кормы табань, правый с носа гребни! – крикнул он.

Межеумок грозно качался на волне, для которой был слишком хлипкок. Он переваливался и черпал воду бортами. Всё вокруг нахмурилось: дождевое небо, сырой метельник по берегам. Гора впереди словно в пляске мотала каменным сарафаном, колыхала складками и топотала по реке, брызжа прибоем. И Осташа впервые почувствовал нутром холод сплавщицкого одиночества, когда вот он несётся на скалу, и барки для него уже нет, потому что барка – это он сам. И он один на один со скалой, которая пляшет в бесовских кобях, машет подолом. И никто, кроме него, сплавщика, этой пляски не видит, а потому и такого страха божьего не чувствует. И в этом полёте, за которым, быть может, ждёт гибель, в прыжках и корчах каменного бойца то ли проявился и вправду морок бесовский, а то ли прорезалось в глазах истинное и чистое зрение души.

– Ещё правый с носа! – кричал Осташа.

Сейчас без слова заветного, что от зубов заучено и по одной памяти произносится, душа лопнет, переполнившись, и грудь треснет, надувшись от крика. Весь путь от могилы Алфёра Осташа твердил его заветное – «Лодью несгубимую» сплавщиков, миновавших лихо. «Встану я, раб твой, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из ворот воротами, на чистую реку, на каменный берег, на дощатый помост, на нешатучий чёлн. В море-окиане на острове Буяне лежит бел-горюч камень Алатырь, над ним древо карколист, на вершине древа карколиста сидит птица Гагана, на ветвях висят Козьма и Демьян, Лука и Павел, великие помощники. Заступись за меня сила божья, Богоматерь Пречистая, все святые, все иноки древлеправославные и мученики новоявленные. Еду я не в санях, крытых бобрами, да соболями, да кунницами, еду на челне кремлёвом...»

Бурлаки гнулись на вёслах, и в гребках их рубахи тресали под мышками. Осташа уводил межеумок левее, так, чтобы пройти над островом, который сейчас был затоплен, – только ветки кустов, соря листьями, тряслись над быстротоком. Если расчёт верен, межеумок должен задеть остров днищем и сбросить ход. Иначе ничего не сделать: скорость вынесет судно в полую струю и хряснет рылом в камень.

«Ждут меня на встречу сто двадцать камней-бойцов, сто двадцать сатанаилов, сто двадцать дьявоилов, сто двадцать полканов, не пешие, не конные, не рождённые, не кованые. В чёрной избе моей за дубовым столом стоит трясавица на по́лице, – не замечая, бормотал Осташа уже вслух. – У меня зубы целы, вода проточна. Козьма и Демьян, Лука и Павел и Никола Угодник, соберите нечистых в тенёта шелковые, в кади железные, сварите в котлах кипучих, в сере горячей, чтоб изо лба им глаза в затылок выворотило! Сгоните птицу Гагану, пусть склюёт Акир и Ор, чёрных аспидов! Ты, трясавица, не вертись, ты, притолока, не свихнись. Дайте мне, святые, иноки и мученики, на всех нечистых медвежий рот, волчьи губы, свиные зубы! Суд судом, век веком!..»

Сизые каменные плиты уже нависли над головой, когда под днищем межеумка засвистело и зашипело: это межеумок потащило пузом по кустам на острове. Вода вокруг закипела, завертелась, людей дёрнуло к скале, словно в небе блеснул чей-то властный приказ пасть пред бойцом на колени. Но бурлаки не пали. Отток струи уже перехватил межеумок и поволок его вдоль Сарафанного.

Осташа ещё договаривал, не в силах остановиться: «Полетят над моей лодьёй нестугбимой три врана, три братёника, понесут три золотые ключа. Как из синего неба дождь не канет, так жизнь моя из тела белого не побежит. Как от кочета нет яйца, так от камня нет мне погибели. Проведите меня-молодца мимо камня-бойца до чистой воды, до большой реки, до синего неба, до ясного оболочка. Гонит Илья Пророк на колеснице гром с великим дождём: над тучей туча взойдёт, молния осияет, гром грянет, дождь польёт, порох зальёт. Пена изыде, язык костян. Как у замков смьичи крепки, так мои слова метки, аминь!»

Межеумок, словно встряхиваясь, как жеребёнок после купанья, уже миновал Плешаковскую пристань, на причале которой мужики что-то весело орали в одобрение, миновал бойца Худого, чехарду домиков Мартьяновой деревни по обоим берегам. За глыбами камня Востренького, за кривым сундуком бойца Палатка Осташа перевёл своё судно на край течения, и вскоре мимо него с шумом и урчаньем понеслись огромные, как возы с сеном, полубарки старошайтанского каравана, грозно растопырившие потеси на полреки. Не отойди Осташа в сторону, они разбили бы межеумок, как пушечные ядра.

Отдышавшись, поплыли дальше, но в памяти Осташа отпечаталось, как мелькнул в глазах морок под Сарафанным бойцом... Осташе не хотелось признаваться себе, но это была правда: большой сплавщицкой уверенности он в себе ещё не чувствовал. Рановато ещё. Значит, подействовал заговор, коли межеумок всё же вывернулся из-под Сарафанного. А батя вот заговоры не признавал... Как-то он говорил Осташе: барку вести – что душу блюсти. Каждый знает, что такое грех. Никто не грешит от неведения, не дети же малые. А откуда знание греха? От веры. Так и в сплавщицком деле. Вместо веры – наука, уменье. И по уменью всякий сплавщик может верно рассудить, как ему барку провести, чтобы не убить. Ежели не может – значит, плоха его наука. Мало на скамейке простоял, ворон считал да зевал по сторонам, а не навык перенимал. И когда сплавщицкой науки не хватает, начинают беса понужать: помоги. Тот и рад стараться. Заговоры эти – от беса.

Но как же от беса, коли Богородицу и апостолов призываешь? Как же от беса, если доброе дело выходит? Со злым умыслом к заговору очень редко прибегают: один-то раз во зло употребить можно, только больше ни единый заговор тебе никогда не поможет. И читают-то заговоры по божьим дням, по лёгким и постным: по вторникам, средам и субботам. Осташа не мог разобраться. И не было рядом бати, чтобы спросить напрямую. А значит, надо идти

туда, где все ответы, – в скиты на Весёлых горах. Если там гнездится толк истязельческий – сплавщицкий, то и ответы там. Хотелось бы, конечно, допытаться: кто и как батю убил, почему Гусевы живы, где казна пугачёвская. Может, и получится вызнать. Но главное, чего батя от Осташи хотел, – чтобы и Осташа честным сплавщиком стал. Тайны подождут, даже батина тайна, потому что правда веры в работе сплавщицкой будет поважнее всего прочего. Без веры и душу не спасёшь, и сухаря не съешь. А без души нет работы сплавщика, потому что наука ведёт, а вера хранит.

...В Илеме под моросью толпа каторжных, за ноги скованных общей цепью, кайлами ломала висок рыжего от лишаёв Илимского камня: вырубали плиты для новой пристани. Берег перед устьем речки Илимки подкопали, и здесь уже громоздился новый недостроенный причал – плитняковая стена со скошенными углами. Пока что высотой она была человеку по плечи. Каторжные огромной свилеватой балдой трамбовали землю в каменный короб пристани: глухой удар, от которого вздрагивал берег, – и звонкий щелчок дальнего отголоска на бойце Тюрике. За стройкой тянулся гребень плотины, весь в пожухлой траве. Вдоль пруда по плотбищам на городках илимские мужики уже выкладывали плахи-лыжины для днищ больших барок.

Пока Федька Мильков, суетясь и махая руками, описывал купцу Сысолятину, какова получилась ходка, Осташа с другими бурлаками обедал на берегу. Слушая Федьку, Сысолятин качал головой, всплёскивал пухлыми ладошками. Он был похож на жабу – маленький, толстый, лысый, больше ротый, говоривший визгливым бабым голосом. Потом он велел бурлакам оттянуть межеумок к причалу. До вечера пришлось ещё разгружать товар и таскать его в сысолятинский амбар. Федька стоял в проходе с толстой засаленной тетрадью в руках и пересчитывал тюки. Рожа у него была суровая, вид – требовательный и неподкупный: будто и не он неделю назад был готов пропить всё, что Сысолятин имел. Вечером купец рассчитал бурлаков, а Федьку и Осташу позвал к себе.

Деревня расплзлась за прудом по взгорью горы Головашки, отгородившись от Чусовой стеной могучих амбаров. С площади в просветах меж домов был виден дальний извив реки под бойцом Тюриком, плоскость длинного косого пруда, расчерченная нитками перестяг, недостроенные барки на плаву, заваленное хламом и щепой плотбище на склоне Илимского камня. Тёмная, мокрая, ветхая рогожа неба провисала над Илимом, занавесив закат за Сулёмским плёсом. На площади в пожухлом бурьяне стояли лавки, запертая на замок кривая часовенка, пристанская контора с воинским присутствием и сысолятинские хоромы. Были они победнее, чем у Конона в Ревде, но тоже на два яруса и в две связи. Купец повёл Федьку и Осташу на летнюю половину своей избы, где в углу горницы громоздилась горка кованых невяньских сундуков. Купчиха здесь уже держала на столе горячий самовар.

Осташа от заморского чая отказался – кто чай пьёт, тот отчаивается. Купчиха налила Сысолятину стеклянный стакан в медном подстаканнике и придвинула корзинку со сладкими баранками. Федька сам себе напузырил стакан, да ещё и разлил по столу, но быстро стёр лужу рукавом.

– С кем, хозяин, баранками делишься, с тем на том свете свидишься, – льстиво сказал он.

– Ну, Федюня, – поднося к губам блюдце, ласково произнёс Сысолятин, – расскажи про денежки. А ты, Остафий Петрович, говори, верно ли. Рупь двадцать ты, Федюня, пропил в Ревде – на то уговор был. По два рубля сплавщицких Алфёр и Остафий Петрович получили. А где ещё рупь сорок?

Федька и вправду отдал Ефимье все деньги, что полагались Алфёру, хоть Алфёр и не довёл межеумок до Илима. Если судно дошло до нужной пристани, доля каждого отдельного сплавщика всегда считалась только по то место, куда сплавщик вёл. Довёл Алфёр до Чегена – и деньги, значит, ему только за путь от Ревды до Чегена, рубль семьдесят. Сгиб – не сгиб, это не важно. Федька поступил великодушно. Правда, с Осташей он рассчитался как с бурлаком:

дал рубль, хотя по обычаю должен был заплатить ещё тридцать копеек за работу сплавщика от Чегена до Илима, но Осташа решил не торговаться.

Федька склонился над стаканом, вроде как дул на чай, а сам из-за самовара яростно подмигивал Осташе – мол, не выдай!..

– Так то с меня в конторе на Старой Шайтанке содрали за спрос!.. – выныривая на глаза Сысолятину, соврал Федька, вытаращившись на купца. – Ты, хозяин, мне ещё три алтына должен – из своих отдавал!..

– Из своих, значит... – огорчился Сысолятин.

Федька решительно закивал лохматой головой, подтверждая: да, из кровных, от жены, от деток малых оторванных.

Сысолятин поставил стакан и, кряхтя, полез из-за стола. Перекрестившись на образ, он пошёл вдоль стенки, заходя Федьке за спину – вроде бы, чтоб Федька не увидел, как он деньги отсчитывать будет. «Неужель отдаст, дурак?» – удивился Осташа. Федька пил чай с видом честного человека, которому незачем оглядываться.

Но Сысолятин – даром, что на бабу походил, – вдруг стрёб Федьку за шиворот и потащил из-за стола. Лицо у Федьки запрыгало от страха. Федька поперхнулся чаем, но ещё успел, цепляясь ногами за лавку, бережно поставить недопитый стакан на стол. Сысолятин уронил лавку и поволок Федьку к выходу. Ошалев, Федька нелепо хватался за стол и стены. Сысолятин ногой открыл дверь и отвесил Федьке такого пинка, от какого Федька кубарем покатился по сениям, а на лестнице загромыхал и застучал, будто упавшая кадушка.

– Увижу на своём дворе – убью! – крикнул Сысолятин Федьке вдогонку и захлопнул дверь.

Пригладив ладонями волосы и бороду, он сокрушённо посмотрел на образ и снова перекрестился.

– Осташка!.. – вдруг донёсся с улицы Федькин крик. – Скажи ему!.. Вместе ж под Сараным погибали!.. Три алтына!..

Сысолятин засопел, подошёл к косящатому окошку и дёрнул за верёвку, пропущенную сквозь раму и привязанную снаружи к ставням. Ставни затворились. В горнице разом сделалось сумрачно. Тотчас в ставни замолотило – это Федька в бессильной ярости кидался комьями грязи. Сысолятин, вздыхая, молча вернулся к столу, снял с самовара крышку и сунул в трубу, к углям, лучину. Потом вынул огонёк и приткнул лучину в светец, а сам сел на прежнее место.

– Пей кровь мою!.. – глухо донеслось с улицы.

– Ну а ты кто будешь, Остафий Петрович? – спросил Сысолятин, снова наливая чай в блюдечко.

– По родителю – Переход, – сказал Осташа.

Он испытующе глядел на купца. Сысолятин не поднял глаз – значит, знал.

– Говорят, батька твой барку убил и царёву казну присвоил...

– Язык не метла, в закут не поставишь.

– Деньги-то свои ты вон Федьке простил. Знать, хватает?

– И ты Федьке пропой простил.

Сысолятин нагнул голову и стал чесать щёку, наконец-то подняв глаза на Осташу.

– Федька – питух, не вор. Пропитого не жаль. То от нас, грешных, вместо милостыни. А украденного всегда жаль.

– Что ж, я пойду тогда, – зло сказал Осташа, забирая с лавки шапку.

– Не ерепенься, – осадил его Сысолятин. – Коли я тебя за вора держал бы, разве ж позвал бы тогда к себе? Живём среди людей, судим по людскому мнению... Ты, значит, от бати навек перенял?

– От кого ж ещё? – Осташа пожал плечами. – Батя ни одну барку не убил, даже последнюю, которая за Разбойником затонула. Я её уже продал на Усть-Койвинский кордон – за полную цену, только с вычетом на починку и перегон.

– А сейчас под Кононом Шелегиным ходишь?

– Под богом, – хмуро ответил Осташа.

– Молодец, – одобрил Сысолятин. – Это хорошо... Мне Кононовы подручники в сплащиках не нужны – утопят товар. Конон меня не любит.

– Кого он любит-то? – буркнул Осташа.

Сысолятин допил чай и поставил стакан верх дном в блюдце – чтобы бесы в порожнюю посудину не нагадили.

– Пойдёшь ко мне вместо Алфёра весной на уговор?

Осташа почувствовал, как бледнеет. Сердце тошнотворно торкнулось в горло.

– А чем я тебе приглянулся? – хрипло спросил он.

– Голова у тебя устроена по-купчески. За себя говоришь, не обществом. Я народу не верю. Народ Пугачу кланялся. А вот человеку я поверю, если его корысть увижу. Твоя корысть – на виду. Я не о деньге говорю, сам понимаешь.

Осташа кивнул – получилось как-то судорожно.

– Весной-то что будет? Полубарок, колёменка? – спросил он, словно хотел оттянуть окончательный ответ, словно все эти недели и не ждал, замирая: когда ж его позовут в сплавики?

– После Ирбита меньше чем барка у меня и не бывает. Чай, не пряниками вразнос торгую... Но учти: коли со мной на весенний сплав подражаешься – всем остальным отлуп. Уговор дороже денег. По рукам, сплащик?

– По рукам, – решительно согласился Осташа. – А точно, что у самого-то не отменится чего?

– Коли светопреставленья до весны не случится – так ничего не отменится. Слово.

НА ВЕСЁЛЫЕ ГОРЫ

Ефимья Гилёва в Илеме встретила своего сродственника – местного лесовозчика Агафону Юдина по прозвищу Бубенец. Агафон уболтал Осташу довезти его с Ефимьей на шитике до Сулёма – всего ведь четыре версты. Осташа довёз, и пришлось идти к Гилёвым на поминки по Алфёру. Идти ему не хотелось, но Бубенец трещал за всех – и за Ефимью, почерневшую от горя, и за Осташу, угрюмо молчавшего о своей вине. И, по словам Агафона, всё получалось ясно и убедительно: напал разбойник и убил сплавщика. Чего тут не понять? Бывает такое.

Осташа и сам чуть в это не поверил. Но он поднимал глаза на погасшую Ефимью, мёртво сидевшую за поминальным столом, и злость смывала с памяти всю склизь трусливых придумок. Ни при чём тут разбойники... Это за него Алфёра убили. А в чём он виноват?! Не он же Алфёра убивал!.. Это Чупря ударил прикладом. Это мурзинские шатуги перепутали, кого надо привести к Чупре. Это пьяные бурлаки посадили межеумок на мель. Это сам Алфёр предался Конону и стал истязателем – за то и поплатился. И Осташа не хотел мучиться этой виной, хотя и жалко было Алфёрку.

Вечером Бубенец выпросил у богатых Гилёвых лошадей с телегой, чтобы наутро поехать в скиты на Весёлые горы, и Осташа понял, что всё не зря, что бог его ведёт неисповедимым путём и что ему дорога – туда же.

– Тебе в скиты почто? – спросил Осташа Бубенца, когда они укладывались спать на сеновале.

– Слух прошёл, что явился туда учитель из Выговской кинобии, принёс полный список «Винограда российского» и новые Поморские Ответы, – охотно пояснил Агафон, подгребая сено под голову. – Читать будут, перетолк будет с прениями. Охота послушать умных людей. У нас поморского толка ходоки редко бывают. А этот к самому Мирону Галанину направляется. В чём-то там МIRON Иванович с Повенцом и Керженцем разошёлся.

– Ты, что ли, староста какой? Книжник? Учитель?..

– Рад бы в рай, да грехи не пускают, – хихикнул Агафон. – Я, понимаешь, учёность люблю, знать всё люблю. Надо мне. Из учителей там старец Гермон и старец Павел говорить станут, а от уставщиков – Евстигней Петров с Невьянска и Калистрат Крицын с Ревды. Эти много скажут полезного, а я послушаю.

«Калистрат?..» – подумал Осташа. Если Калистрат и старец Гермон – точно, значит, в истязателях дело... Всё на них сводится: и надменность Конона Шелегина, и скорбь Алфёра под Нижним Зайчиком, и крестики Яшки-Фармазона, который тоже при скитах подвизается... Но дело даже не в том. В пути Осташа всё вспоминал слова Конона, вроде впустую сказанные – да не впустую, оказывается. «Разве Чусовую заколдуешь?» – крикнул тогда, в Ревде, Осташа. «Всё можно», – усмехнулся Конон. И вправду. Там, перед Сарафанным бойцом...

...Рано утром, пока ещё и хозяйка не встала, Осташа и Агафон уже выехали из Сулёма по Старой Шайтанской дороге. Осташа дремал, лёжа в телеге под рогожей. И шитик, и штуцер, и Яшкину грамоту с родильными крестиками он оставил у Гилёвых, не усомнившись в честности хозяев. Агафон, держа вожжи, бодро шагал по грязи на обочине и болтал обо всём, что видел. Дорога тянулась по протяжным увалам то через лес, то через перелесья, кое-где распаханнные, а кое-где оставленные на покос. Где были покосы, там уже дымили костры и мелькали в травах светлые рубахи косцов. Тусклое небо было затянуто мелкой дрожью облаков, только на севере облака набрякли угрюмым сумраком – понизу их обдало, словно тёмной водой, мрачным отсветом Весёлых гор. Как-то по-особому ярко в сизой дали на взгорьях зеленели леса, отмытые дождями.

– А ты, Агафон, чего от сенокоса убежал? Или тебе коней кормить не надо? – лениво спросил Осташа.

– Я возчик не из бедных, меня сызмальства домовой мохнатой лапой по пузу гладил. Сена накосить я батраков нанял. А сам вот душу потешу умным словом. Моя работа зимой придёт.

– А чего тебе эти перетолки? Разве что поймёшь, когда по книгам лупить начнут?

– Когда поймёшь, когда и нет. Вообще интерес у меня. Не всё ж коню под хвост смотреть. Ты вот сплавом душу правишь, а я беседой учительной.

– Так мне на сплаве всё ясно.

– Чего ясно-то? Почему вода бежит, откуда скалы взялись, отчего одному человеку удача, а другому – беда? Ничего тебе не ясно. А ведь всё равно ходишь, смотришь, слушаешь.

Осташа недоверчиво покосился вокруг, удивлённый мнением Бубенца.

– Всё одно не пойму я тебя. Коли смысл не по уму, чего уши топорщить?

– Не знаю, чего, – хмыкнул Бубенец. – Нравится мне. Может, пригодится, может, нет. Не важно. Сам лад на дело настраивает. Послушаешь, и вроде как всё не зря, всё по-хитрому в мире устроено. Уважение от этого и к себе, и к делу своему... Да ко всему. Я даже бабу свою после перетолка месяц, наверное, не бью, честное слово.

Осташа и Бубенец дружно посмеялись.

– А башка не распухнет?

Бубенец поднял шапку и погладил себя по плечи, кругло торчащей из волос. Голова его напоминала усатый и бородатый огурец.

– Не распухнет, крепкая. Да сейчас-то чего? Сейчас так, учителя небольшие. Вот когда бы сам Мирон Иванович...

– Слышь, Агафон, а ты видал Мирона-то Галанина?

– И видал, и слышал, – гордо подтвердил Бубенец.

– А кто он такой, Мирон этот? С чего ему почёт?

– Почёт ему с того, что он учитель наш, собиратель толков. А учителем он потому стал, что восприемник самого Аввакума...

– Ему что, Господь полтора века отмерил? – не поверил Осташа.

– Ну, уж не напрямую же, конечно, восприемник... Аввакум ещё в Пустозёрском срубе завещал дело своё продолжить беглому тюменскому попу Доментиану. Доментиан с Печоры вырвался. На Кондинской заёмке на Исёти старец Авраамий его постриг в монахи под именем Даниила. Доментиан Авраамию завет Аввакумов передал. Потом он, Доментиан-то, гарь устроил на речке Берёзовке, сотни душ в огненную купель окунул и сам сгорел... Авраамий же, Венгерский прозвищем, был инок монастыря на Кондэ-реке. Там он сдружился с другим учителем – строителем Иванищем Кондинским. Авраамий и в Москву ездил бить челом о монастырских нуждах, и в Тобольске лаялся за старую веру, за что его в Туруханский край сослали. Оттуда вернулся – жил по разным монастырям, заёмки ставил. Власти ловили его, да народ скрывал или отбивал. Авраамий с Иванищем прильнули к бывшему стрелцу Федьке Иноземцеву в Уткинской Слободе. И там смута началась, когда отказались они по никонианскому обряду крест на царство Петру с Иваном целовать. За смутой – опять гарь. Авраамий-то с Иванищем гарей не жаловали, даже к Аввакуму человека посылали, чтобы тот гарь отсрочил, да Аввакум уже сам сгорел. На Уткинской гари боле сотни душ пылало... После неё Иванище с Авраамием и бежали на Ирью, где на Бахметьевских болотах на островах положили начало своей пустыни. Иванище там и дни свои скончал. Авраамий же продолжал учить по древней Палее. Какая-то жёнка стрелецкая, Ненилка прозвищем, под пыткой указала на Ирюмские болота. Тюменский воевода туда солдат послал. Взяли Авраамия, привезли в Тобольск, хотели запытать в подвалах, а потом тайно загresti мёртвое тело за городом без погребального напутствия. Авраамию помог монастырский служка, и старец бежал. Вернулся на Ирью да умер, завещав похоронить себя на острове в болотах, который мы Авраамиевым и зовём.

Перед смертью книги учительные и завет передал иноку Тарасию. Тарасий же дело продолжил. Когда в двадцать втором году царь Пётр повелел присягу приносить царю безымянному, в Таре и в других крепостях со слободами опять бунт начался. Тарасий от розысков снова на Авраамиевом острове прятался. А затем на соборе благословил вятского беглого попа Семёна Ключарёва завет нести. В середине века сего тобольский митрополит Сильвестр люто взялся за нашу веру и сумел изловить Семёна с сотоварищем его Гаврилой Морокой. Но Семён уже завет Мирону Галанину передал.

– Ну и память у тебя, – восхищённо сказал Осташа, слушавший Агафона очень внимательно. Он даже приподнялся в телеге на локте и сдвинул шапку на затылок, чтобы уши не закрывала.

– Ну дак! – гордо хмыкнул Агафон. – Чего проку узнавать, если не помнить?

– Ниточка-то длинная от Аввакума до Мирона Галанина...

– И что из того? Благодать – не медный пятак, от человека к человеку переходит и не стирается.

– А Мирон-то сам – кто он? – напомнил Осташа.

– А Мирон Иванович ирюмским крестьянином был. К вере ревность большую имел, за то и доверил ему завет Семён Ключарёв. Мирон на Авраамиевом острове написал «Историю про древнее благочестие». Народ к нему на чтения ходил. Как царёвы нюхачи закружили по Дальним Кармакам, Мирон стал людишек причащать перед новой гарью. Но сожечься не успели – солдаты всех похватили чуть ли не с огневищами в руках. Мирона Иваныча сначала в Тюмень услали, потом, как положено, в Тобольские казематы. Четыре года он в горé без солнца сидел. Затем перевели его в Екатеринбург, посадили в заречный тын с колодниками. Затем отправили на смёртные работы в Мраморское на гранильную фабрику. Там Мирона Иваныча уже чусовские жители подкармливали, оттого он и пристален так к нашей жизни. Пятнадцать лет он на каторге провёл; не умер – дак отпустили. Он на Ирюм и ушёл обратно, на Авраамиев остров.

– А ты-то его где видел?

– В прошлом году ездил на большой собор в Невьянск. Там злые перетолки были, злые. Вот там и видел. Про себя Мирон Иваныч сам рассказывал, а про Авраамия читал учительную книгу свою самописную – «Рукопись о древних отцах». Я её потом выпросил на ночь и списал себе. Хочешь, дам прочесть?

Настоящих книг Осташа читал всего-то две, и обе под батиним присмотром. Хотелось, конечно, Мироновы сочиненья прочесть, но боязно было на себя ответственность брать.

– Придёт время, и попрошу тебя, – согласился Осташа. – Ты только не забудь... А-а, да ты ж у нас всё помнишь!

Агафон важно кивнул.

– Вся премудрость в книгах, – наставительно заметил он. – Народ-то помнит не дело, а одну только байку о деле. Вот мы с тобой за Большими Галашками будем горочку малую проезжать... Под ней схоронен Галаня, который деревню-то и основал. К Галане под бок подселились уже Кадниковы, да Кузнецовы, да Баклыковы; их корень и сейчас здесь. Вот этот Галаня смастерил из бёреста крылья, залез на кедр и сиганул. Ногу сломал, понятно. Пока лежал, Кузнецовы ему избу подпалили: дескать, Галаня с чёртом связался. Галаня обиделся, ушёл на лыжах в Невьянск и с ногой хромой замёрз у того пригорка. Это байка. И по ней не узнаешь главного: с чего Галаня решил летать научиться? Чего ему надо-то было? На облаках хлеб не сеют, не жнут. Вот об этом только в книгах и можно узнать. А байка что? Тьфу.

– Чего ж тут непонятного? – удивился Осташа. – Всё понятно, зачем крылья человеку...

– Тебе понятно, а мне, дураку, нет, – обидчиво сказал Агафон.

Осташа задумался и вздохнул с сожалением:

– Хорошо тебе... Ты узнал – и поверил. А как мне быть, когда поверил – а узнать не можешь?

ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ

Осташа думал, что скит – это что-то дикое и тайное, вроде берлоги. Но под еловой тушей Поперечной горы он увидел здоровую истоптанную поляну, на которой сбился целый табор. Правда, шума не было. Дымили костры; на самом большом, возле которого толклись бабы в чёрных платках, в общем котле готовился обед. Кругом стояли телеги, торчали балаганы, два пастуха собирали лошадей в табун, чтобы гнать на выпас у речки Егоровой Каменки.

Перетолк, похоже, уже начался. Агафон торопливо принялся распрягать свою конягу, а Осташа отправился посмотреть на людей. Вдруг мелькнёт Яшка Гусев?

– Старец-то Павел в той домушке живёт? – спросил Осташа у незнакомого мужика, мазавшего дёгтем ступицу снятого колеса, и добавил на всякий случай: – Бог в помощь...

Мужик хмуро оглядел Осташу, покосился на кривую и замшелую избу возле ближайшей сосны и нехотя ответил:

– Там послушники живут, что при старце, а старец – в келье на склоне. Отсюда не видать.

– Никак ехать собрался? – неловко улыбаясь, спросил Осташа снова. – А на перетолк-то не пошёл?..

– Хочешь, так иди, – буркнул мужик. – Я сюда попрощаться приезжал... Тебе чего надо, парень?

Осташа знал, что «попрощаться» – значит поклониться тайным могилам здешних старцев, коих по Весёлым горам было до сотни.

– Человека ищу. Яшку-Фармазона. Может, слышал про такого?

– Фармазонов у нас не бывает. Это барский толк, не наш.

– То прозвище пустое...

– А ты кто, царицын доглядчик?

– Чего, и спросить нельзя? – обозлился Осташа.

– И без тебя на Чусовой расспросчиков по пятку на каждый омут. Гуляй давай.

Осташе, конечно, хотелось смазать по шапке недоверчивому кержаку, но он развернулся и пошагал по утоптанной тропе наверх.

Поперечная гора сама вползала по отрогу на Белую гору, но на полпути остановилась и осела. Верхушка её была зачищена от леса, который пошёл на рудничные нужды. Вход в обвалившийся рудник старец и приспособил под скит. Сейчас перед срубом кельи, торчащим из склона, шёлком зеленел луг, чисто промытый дождями. В густом и высоком кипрее у жердяной изгороди стояла одинокая старушка. Подперев щеку ладошкой, она смотрела на келью.

– Старца ждёшь, бабушка? – спросил Осташа.

– Любуюсь, внучок, – пропела старушка. – Умиление-то какое божье... Давеча поутру видела, как старец-то Павел после молитвы утренней вышел на порожек, а к нему из лесу две косули пришли, и он их с ручки кормил, а они ему головками так кивали, кивали, – старушка и сама закивала. – Старец-то седенький-седенький, и глаза у него такие ласковые, и говорит-то тихонечко...

Осташа потоптался рядом со старушкой, которая не отрывала взгляда от кельи, и пошёл дальше. Он обогнул вершину Поперечной горы, и перед ним, как выдох полной грудью, во все стороны раскатились сизые влажные дали. Весь окоём вокруг расплескался покатыми лесными вершинами: за Белой горой прятались Голая гора, Чауж, Палачова гора, под которой спал старец Иова, Карасьи горы и Баклушины. По левую руку качались Шульпиha с Вахромихой и Красный Столб. Направо отшатнулись Юрьев Камень с Приказчицей и совсем уж далёкая Негасимая гора. Внизу тускло блестел широкий и какой-то непривычно плоский Черноисточинский пруд; на его берегу чернели крохотные былинки труб Черноисточинского завода. Над прудом и Поперечной горой в небе протянулись полосы низких облаков, будто облака

скатились с Белой горы, разматываясь как свитки, но остановились, наткнувшись на громаду Старика-камня, окружённую угорами пониже – Кулигой, Боровой, Зольниками, Билимбаем, Сухарной горой и Сутуком.

На этой стороне горы и собрался народ. Здесь был поставлен большой навес на столбах, будто над артельным столом, но стола не было. Под навесом шли раскольничьи перетолки – если, конечно, наставники допускали к ним простой народ. Сейчас – допустили. С полсотни кержаков полукругом сидели на скамьях и просто на земле перед двумя учительскими престолами. Десятка два мужиков и баб, которым не хватило места, стояли за спинами сидящих. Осташа подошёл и тихонько прислонился к столбу навеса, оглядываясь.

На левом престоле восседал здоровенный, сивый от седины раскольник из чувовлян. На правом престоле на самом краешке приютился пришлый старичок, лысенький и остроглазый. За его спиной стоял третий старец с высоким лбом, криво перепаханным глубокими морщинами. Среди слушателей на почётном месте торчал с непокрытой головой Калистрат Крицын. Осташа с удивлением узнал в его соседях и некоторых известных сплавщиков – Онисима Иваныча Колупанова с Плешаковки, Созонта Базина по прозвищу Семь Сундуков и Довлата Халдина из Демидовской Шайтанки, Овсея Гилёва из Сулёма, приходившегося погибшему Алфёрке двоюродным дядькой, Гришку Гуляева из Трёки, Гордея Проклянёныша из Успенки. Среди сплавщиков сидел и Колыван Бугрин – Осташа сразу выцепил его взглядом.

– Слышь, дядя, а на престолах кто? – шепотом спросил Осташа у стоящего рядом мужика.

– На левом старец Гермон, справа – старец Калиник с Выга и наш весёлогорский старец Павел, они оба заедино...

– А о чём речь?

– О разлучении души с телом.

Осташа даже обомлел. Это ли главный-то вопрос на сплаве?.. На полом вешняке мельницы молотят! Ну и старцы!.. Не зря батя говорил: все эти перетолки – сутолока речей и заушь разуму.

– И о чём договорились старцы? Сколькими гвоздями душа к плоти приколочена? – насмешливо спросил Осташа у соседа.

Мужик сердито дёрнул бородой и не ответил. А выговский старец Калиник, словно услышав Осташу, говорил кержакам, наставительно подняв палец:

– ...и апостол Павел в послании к Тимофею о том же нам рек: «Ибо будет время, когда здорового учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые польстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням»!

«Воистину басни», – согласился Осташа, заметив в стороне девку. Девка, видать, была с отцом, стояла поодаль, плотно закутав голову в платок. Но Осташа всё равно разглядел в тени платка весёлые смородиновые глаза, словно мохнатые от густых ресниц, и свежие, яркие губки. Чем-то она вдруг напомнила Осташе Неждану Колыванову, хотя была поменьше ростом, да и побойчее вроде бы. Весь интерес у Осташа тотчас обратился на девку, хотя и перетолк Осташа продолжал слушать внимательно.

– Макарий Великий говорит: «Когда человеческая душа выходит из тела, совершается некое великое таинство, ибо если она виновна в грехах, то приходят полчища демонов, злые ангелы и тёмные силы, берут сию душу и увлекают её на свою сторону», – гудел у престола старец Павел. – И великое таинство – не человеческое дело. Коли пастьерской благодатью в канон не облечено – нет у людей на то сил, и всё тут.

– Что значит – душу с телом разженить? – дребезжал выговский посланец Калиник. – Вы вспомните «Слово об исходе души» святого Кирилла Александрийского. Как учитель исход души толкует? Одним смыслом толкует: смерть! Иного нам не заповедано!

– Ну, братия?.. – будто подталкивал народ к спору старец Гермон и с прищуром глядел на сидевших вокруг.

– Ежели душа во сне покидает человека, то человек волен отпускать свою душу, как волен засыпать, – не подымая глаз, сказал вдруг Колыван словно через силу, словно бы не свою мысль. – Тело без души всё равно не мёртвое тело, а со Святым Духом, которым вдохновлены и душа, и плоть...

– Что притчи говорят, святые предания? – громко спросил Калистрат, явно гордясь своей учёностью. – У преподобного Василия Нового были ученики Григорий и Феодора. Феодора умерла, и во сне Григорий слышал её рассказ о смерти. Утром при благословении преподобный Василий спросил Григория: «Где ты был в ночь сию?» Григорий отвечал: «Спал на одре своем». Старец сказал: «Знаю, телом почивал на одре, а душой был в другом месте». Значит, душа Григория, сокрушась в соболезновании, летала на встречу с душой Феодоры. Плоть же без души жива оставалась.

– Говори, народ, толк общий, – кивнул собравшимся Гермон.

– У грешников ангелы душу сквозь рёбра вынимают, – неуверенно сказал мужик с рябым и глупым лицом.

Перетолк молчал. Рябой снял шапку и напоказ перекрестился.

– В Прологе на первый день июля в повести святого Нила говорится: «Душа человека посреди есть Ангела и беса. И Ангел ибо влагает, и показывает, и учит, ещё к добродетелям; бес же влагает, ещё суть греха. Душа власть имеет, ещё последовать ему же любо хочет или Ангелу, или бесу», – добавил и кто-то из сплавщиков. – Власть имеет – вот как сказано! Душа сама двинуться может, куда человек её направит!

– Коли кто мается на одре, а помереть не может, просит доску в потолке вынуть да угол крыши разобрать, – рассудительно сказал другой сплавщик. – Значит, с разумом, сам душу свою отсылает...

Старцы Калиник и Павел молчали, раздумывая. Осташа покосился на черноглазую девку. Та заметила, но сделала вид, что не замечает, крепче взявшись руками за кончики платка.

– Есть молитвенный «Чин на разлучение души от тела, егда человек долго страждет», – услышал Осташа негромкий голос Бубенца, тоже нашедшего, что сказать. – Люди сами просят разлучить душу с телом, то есть по своей воле отправляют душу вовне...

– Бесы и волхвы тоже могут совершать много дивного. Помогите: чёрт смущает, бес подстрекает, дьявол нудит, сатана творит лживые чудеса. Лукавый может и душу выпускать на волю, с его-то наущенья Аендорская волшебница вызвала Саулу тень умершего Самуила, – угрюмо сказал старец Павел. – Но в ветхозаветные времена подобное каралось смертью.

– Я уж говорил тебе, отче, – старец Гермон повернулся к Павлу, – чтобы ты не путал душу умершего с истяжённой душой живого... У мёртвого душа никакой воли не имеет. Ну, Калистрат свет Назарыч...

– В притче о богаче и Лазаре просит богач Авраама послать Лазаря к своим братьям, – заговорил Калистрат, польщённый приглашением. – Ежели мёртвая душа богача волю имела, то не просила бы, верно? А истяжённая душа живого человека воли не теряет и силу имеет волю эту исполнить, потому как Святой Дух воедино объемлет и плоть, и душу, из неё истяжённую.

– Помогай, отче, – проворчал Павел Калинику.

– Какова ж воля у истяжённой души, коли сам Иоанн Златоуст сказал: «Невозможно блуждать душе, уже отделившейся от тела»? – произнёс Калиник и поджал губы, чуя слабость своих слов.

– То сказано о душе мёртвого человека, сам понимаешь, – насмешливо возразил Гермон. – Народ согласен?

– Тот же Златоуст о дьяволе говорит: «Он прельщает и соблазняет нерадивых, однако ж не удерживает насильно и не принуждает», – подтвердили из толпы. – Значит, душа живого человека имеет волю отжениться от дьявола. И коли ты от дьявола отженился и душу истягаешь – это дело богу терпимое.

Гермон довольно закинул ногу на ногу, протянул руки и на колене сцепил пальцы в замок, чуть подрагивая носком добротного сапога. Мужик, стоявший рядом с Осташей, сердито буркнул:

– Беса качает наш праведник-то...

– Святой Василий Великий говорит: «Приидет угрюмый Ангел, насильно поведёт и повлечёт душу твою, связанную грехами, часто обращающуюся к тому, что оставляет здесь, и рыдающую безгласно; потому что уже сомкнулось орудие плача», – опять влез Калистрат. – О чём та речь? О том, что хоть и во грехе, душа сама по своей воле бесу не дастся! Насильно её Ангел угрюмый уводит! А грехи истязательские наши старцы отмаливают, и справедливостью дел толка нашего ковчежец добра против ковчежца зла переполняется.

– Да не знаю я толка истязательского! – вдруг вырвалось у Калиника, повернувшегося к Калистрату. – Знаю ересь истязательскую! Из того, что Мирон Галанин её толком признал, она толком не стала! Он хоть само душегубство толком пусть признает, но ничто не толк, если не соборно!

– А Невьянский собор? – тотчас напомнил Гермон.

– Как там дело сложилось – сам знаешь! – запальчиво отрезал Калиник. – Криком изба не рубится!

– Ну, о том с отцом Мироном и спорь, не с нами, – усмехнулся Гермон, растопырил ноги и упёрся руками в колени, словно пристраивал руки покрепче, вроде как драки не хотел.

Осташа снова посмотрел на черноглазенькую. Девка и сама косилась на Осташу. Неожиданно пойманная на ответном взгляде, она смутилась и отвернулась.

Старец Павел тоже опустил руки, непокорно покачал головой и тихо, но веско произнёс: – Бесовство.

Толпа слушавших недовольно загомонила. Кто-то из мужиков сдёргивал шапку в бесильном негодовании, а Колыван почему-то вдруг нахлобучил её, словно прятался. Мужик, что стоял рядом с Осташей, удовлетворённо хмыкнул.

– Какое ж бесовство? – Калистрат даже поднялся на ноги. – Блаженный Иоанн Милостивый говорил: «Когда душа выйдет из тела и начнёт восходить к небу, её встречают бесы и подвергают многим истязаниям. Во время шествия души святые Ангелы не могут помочь ей, помогают ей единственно покаяние, добрые дела, а более всего милостыня». Мало ли у истязательского толка добрых дел, чтобы душу сохранить и отогнать мрачных мурийнов, ефиопов и бесов-мытоимцев?

Подтверждением Калистрату был общий гул одобрения.

– В четвёртом слове Исаии Отшельника сказано: «Когда душа выйдет из тела, ей сопутствуют Ангелы, – заговорил и ещё кто-то из сплавщиков. – Навстречу ей выходят тёмные силы, желая чем-нибудь удержать её; в то время не Ангелы противостоят врагам, но дела, совершенные душой, ограждают и охраняют от грехов, не допуская им прикоснуться к ней». Душа по благодати дел её и без телесной оболочки недоступна дьяволу.

– Ангел-хранитель всегда при душе, – поддакнули из толпы.

– Да поможет ли он, когда раскроют свитки и прочтут хартии, где жизнь человеческая описана? – гневно спросил Павел.

– Даже никонианцы в молебном каноне ко Господу и Пресвятой Богородице на разлучение души с телом поют тропарь: «Горького мытарств начальника миродержателя отжени далече от меня»! Неужто древлеправославной веры люди сатане доступнее?

Осташу удивило, с какой угрюмой надеждой Колыван глядит на каждого говорящего.

– Главная проверка – произнесение имени Иисуса, – громко сказал Гермон. – Кто из сплавщиков святого имени боится, а? Выйди сюда!

Пространство перед престолами оставалось пустым.

– Крест – бесам язва! – крикнули из толпы.

– Сказано: «Пиявки облипают тело живое и сосут из него живую кровь; но если обдать тело солёною водою, то пиявки тотчас отпадут. Так и Господь осоллил естество наше солью благодати Святого Духа, и бесы все должны были отскочить от него, поражённые», – победно произнёс Гермон. – А естество – и плоть, и душа. Есть небось среди наших и корыстолюбцы, и греховодники – но толк тут ни при чём!

– Если б от толка вашего только благодать на души снисходила – другой бы разговор был, – упрямо возразил Калиник, хоть и подавленный, но не сдавшийся. – Но ведь старосты ваши мзду с того имеют!..

– Мзда на скиты идёт! – сразу гневно перебил Гермон. – А какие скиты на Руси своим хлебом живут – покажи?

– Скиты подаяниями и дарами живут, а в вашем толке на скиты – по́даты! И то – тлетворно, а потому и дело само тлетворным становится. – Осташа понимал, что старцу Калинику нечего сказать, а потому старец бил по уже мирской сути дела, не по вере, которую опровергнуть не смог. – Зло само себя плодит, его сеять и жать не надо! Оно с малого зерна великим снопом прирастёт! Святой Андрей, Христа ради юродивый, притчу рассказывал об иноке из Царьграда, многими добродетелями украшенном, но сребролюбивом. За душу инока того спорили Ангел и бес, и бес доказал, что иннок этот есть язычник, потому что поклоняется золотому тельцу. И никакие добродетели не спасли душу инока, увлечённую в пекло! Так и ваши учителя, что имеют в каплицах рядом с образами аксамиты, маргариты и скры́ни пёнызи, тельцу поклоняются, а потому язычники, и требы ваши – языческие, и обряд – языческое заклинание!

– Григорий Богослов определял: «Заклинание есть изгнание демонов», – сразу спокойно возразил Гермон. – А святой Иустин Мученик говорил: «Всякий демон побеждается и покоряется через заклинание именем Сына Божия».

Осташа тотчас вспомнил, как перед Сарафанным бойцом читал «Лодью несгубимую», сплавщицкий заговор. По именам, по делу – конечно, Господь его выручал. Но было в образе этого чуда что-то бесовское, было: Осташа это чувствовал, будто в тёмном амбаре слышал кошку, а поймать не мог.

Старец Калиник долго молчал – похоже, огорчился поражением. Насупленный Павел отвернулся, бездумно оправляя за поясок выбившуюся рубаху.

– Апостол Павел кесалонцам завещал не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, – расслабленно и тихо сказал Калиник. – Он говорил: «Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели... ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»...

Осташа в который раз глянул на черноглазую. Поджав губки, чтобы не улыбаться, девка тарасила на него озорные глазёнки. Осташа ухмыльнулся и чуть заметно кивнул головой в сторону опушки: мол, прогуляемся потом, красавица?.. У девки на щёчках появились ямочки.

– ...И кто ж таков взят был? – выкрикнули из народа.

– Да кто... Пётр Фёдорович, царь наш по праву, что даровал волю, крест и бороду... Которого вы, еретики-истязельцы, Пугачом зовёте и ургаланом языческим считаете! – неожиданно гневно закончил Калиник.

В толпе опять начался ропот, и вдруг закричал мужик, стоявший рядом с Осташей:

– Да срам слушать то!.. Кого Пугачом ни поверь, все словоблуды! Какой царь, какой праведник!.. Праведника в безвестности ищите! Он ведь не на виду, не на горё из мертвецов сидит!.. Тьфу!

Мужик в досаде плюнул, развернулся и пошагал прочь от перетолка, который разом возмущённо загомонил.

– Ну, Корнила Нелюбин у нас всегда наособицу, – хмыкнул Калистрат так, чтобы все слышали.

– Потому как один он умный среди всех нас, дураков, – зло объявил старец Павел, натягивая на широкие худые плечи армяк и собираясь уходить. – Отцы наши в расседины земные укрывались веру спасать, а мы в кúплях житейских погрязли вместо спасения...

– Чусовая, отче, сама как расседина земная! – вслед ему крикнул старец Гермон.

Осташа не мог удержаться, чтобы не бросить взгляд на черноглазенькую. Девка смутилась, совсем закрыла кулачками лицо и только чуть заметно качнула головой: «Ладно, увидимся на опушке...» У Осташи сама собой развернулась грудь, но вдруг в душу ему словно холодной водой плеснули – это Колыван глядел на него сквозь толпу. Сначала Осташа подумал, что Колыван глядит на уходящего Корнилу. Однако нет: Колыван глядел именно на него. «А что сказали?.. – забеспокоился Осташа. – Что сказали-то, чтоб до меня и до Колывана обоих касалось?..»

– И далее апостол как про вас говорит, про учителя вашего, коего вы от мира скрываете... – всё гундел в общем гаме Калиник, которого уже никто не слушал, – коему учителю он грядущее предвещет: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьёт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего, того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения»!..

ОТЧИТКА

Толпа на поляне раздвинулась кольцом, оставив прозор для отчитчика. Здесь уже стояла старушка во всём чёрном, держала в руках чашку со святой водой и лохматую кисть-кропило. Мрачный, обиженный отец Калиник молча принял поданную Гермоном большую тёмную икону, поцеловал её, накинул полотенцем и двинулся к толпе. Он занял своё место и перекрестил народ.

Осташа покрутил головой – черноглазенькой не было. «В лесок отошла?..» – с надеждой подумал он и начал потихоньку пятиться от толпы. Люди стояли спиной к Осташе, слушали Калиника, громко читавшего канон. Осташа юркнул за ёлку.

Хорошо было бы полюбоваться с девкой, чтоб шустрая и весёлая была, как Фиска, и при том обликом на Неждану Кольванову смахивала. Сейчас, днём, конечно, не полюбишься, а поцеловаться, уговориться – можно. В тёмном ельнике среди подлеска трудно было что-либо найти сразу.

Осташа пошнырял вдоль опушки, забежал в чашу поглубже, но черноглазенькой не увидел. Подумал и тихонько позвал: «Э-эй, красавица!..» Ответа не было. Осташа постоял, озадаченный, и вдруг услышал с поляны дикий, совсем нечеловеческий вопль.

Забыв о черноглазенькой, он вылетел из леса. Толпа посреди поляны отшатнулась от кого-то, кто корчился на земле. Осташа протолкался поближе и увидел какую-то девку, корявую и кряжистую, что стояла на карачках в пожухлой траве. Она громко, по-мужицки хрипела. Калиник издали перекрестил её, и девка снова истошно завопила. Её начало колотить так, что затряслась голова и сбился платок, опростав нечёсанные космы.

– Припадочная, что ль? – спросил Осташа у соседей.

– Кликуша...

Осташа поднял взгляд и тотчас наткнулся на глаза своей черноглазенькой. Только теперь эти глаза были пустые и мрачные, а лицо девчонки как-то обвисло, постарело, и в нём проступили какие-то жуткие, собачьи черты. Под руки девчонку держали мужик и баба – оба бледные и мокрые от пота.

– Я к нему не пойду, – сказала девчонка совсем не своим, не девичьим голосом, скрипучим и глухим.

– Пойдём, пойдём, Манечка... – сдавленно бормотал мужик, подталкивая девчонку вперёд.

Осташа глянул туда, куда смотрела девчонка. Там перед толпой старец Калиник поднимал икону, прикрытую полотенцем.

– На колени опустите, – издали сипло велел он.

Черноглазенькая вдруг начала вырываться, поскуливая сквозь зубы, а мужик – видно, отец – всё бормотал:

– Давай, доча, на коленки, давай, надо... Держи её, старая!..

Он неловко пнул девчонку сзади по ногам, и девчонка сама как подрубленная упала на колени рядом с рослой девкой-кликушей. Калиник медленно приблизился и резко сорвал с иконы покров, выставил икону девкам напоказ. И кликуша снова завопила, утыкаясь головой в землю, чтобы не видеть образа, а черноглазая завизжала, заверещала и попятилась, толкнувшись задом в ноги толпы. Народ вокруг охнул и закрестился.

– Кропило с чашей, живо! – крикнул Калиник, держа девок под иконой, как под дулом ружья.

К старцу уже спешили два мужика из скитских послушников, один – с чашей святой воды, другой – с кропилом.

Калиник одной рукой прижал икону к боку, а другой схватил кисть, обмакнул в чашу и махнул на девок. Девки завизжали, как в бане, когда на раскалённую каменку случайно опрокидывают полный ковш. Калиник брызгал на девок снова и снова, подаваясь вперёд при каждом взмахе, словно он что-то бросал. С утробным рёвом девка на карачках принялась вилить всем телом, как собака, а черноглазенькую вдруг стало выгибать коромыслом, точно её ломало пополам. И обе залаяли. «Увв!.. Увв!.. Увв!» – гулко брехала с карачек одна, «Аф!.. Аф!.. Аф!..» – тывкала, извиваясь, другая.

Ужас прошелестел по толпе:

– Бесы говорят!..

Осташа, потрясённый, замотал головой, отступая назад, и воистину услышал сам: «По!.. што!.. при!.. шёл!..» – с карачек, и тоненько в ответ: «Про!.. ве!.. ли!..» Потом: «И!.. зы!.. дешь!..» – «Воз!.. вер!.. нусь!..»

Калиник всё кропил и кропил бесноватых святой водой, пока те в корчах не повалились на землю, ногтями сдирая траву и дёргаясь. Их лай перешёл в скрежещущий вой, в котором ещё улавливалось непонятно чьё: «Й-й-и-и!.. Не уй-й-й-ду!.. Не возьми-и-о-ошь!..»

– Бейте их, секите! – крикнул Калиник.

– Страх-то какой, святы Господи!.. – по-бабьи охал рядом с Осташей какой-то мужик. А сзади слышалось, как в толпе в голос читают «Отче наш», захлёбываясь словами.

Отцу и матери черноглазенькой из толпы сунули заранее нарезанные прутья – крепкие, толще пальца; корявую девку обступили сразу трое. Путья засвистели в воздухе, хлёстко шлёпая по телам. Визг бесноватых подбрасывал толпу, как горох в сите. Девки, уворачиваясь, принялись кататься по траве, пытались вскочить, и тогда их попросту пинали по плечам и в рёбра.

– Ой, щёкотно, государи мои!.. Ой, моченьки нету, щёкотно, йи-и, ха-ха!.. – вдруг в безумном смехе затряслась черноглазая.

Мать её со стоном схватилась за сердце, выронила прут и опустилась на землю. Бабу подняли и повели прочь, обмахивая ладонями. Её место занял парень с дрожащей челюстью. Он замахнулся неловко – но ударил сильно.

– Ой, ещё давай, миленький!.. Ой, сладенько мне!.. Ой, хорошо!.. – визжала черноглазая, валяясь на спине, елозя и суча ногами.

– Дай поцелую! Дай поцелую!.. – ухала крижистая девка, бросаясь в ноги толпе.

Люди, что секли девок, прыгали, будто плясали, выдёргивали ноги из ловящих рук бесноватых, били наотмашь – от себя, чтоб анчутки не залезли на них по прутьям. Старец Калиник брызгал святой водой на всех – и на девок, и на мужиков с прутьями.

– Убьёте же!.. – изнемогая, закричали в толпе.

– Сыпь! – гневно крикнул в ответ Калиник.

Девки и проблевались, и обмочились, перемазались кровью и грязью и уже перестали вздрагивать. Толпа обступила их, преодолев страх, и принялась хватать за локти мужиков, всё ещё пытавшихся ожечь бесноватых прутом.

– Выбили, выбили бесов! – твердили со всех сторон. – Да хватит же, а то и дух выбьете!..

– Уйди, з-запорю с-сук!.. – орал и обливался слезами какой-то мужик, метавшийся в руках толпы. К толпе от речки бежали послушники с ведрами. Калиник опустил кропило – он вычерпал им чашу со святой водой досуха. Он был бледен, тяжело дышал. Да и вся толпа еле переводила дух. Послушники окатили девок, окатили мужика, впавшего в неистовство. Но и без того, оказывается, низкие тучи уже залепили всё небо над Поперечной горой, и сверху сеялся дождик.

– Эх, страх какой – бесам отдаться... – услышал Осташа рядом с собой и оглянулся, ещё плохо соображая. Это был давешний Корнила Нелюбин с потемневшими, расширенными глазами и с бородёнкой, свившейся в жгут. – Страх, что живёшь и не знаешь, что бесы в тебе, как черви в коровьем брюхе...

Осташа перебрал плечами. И ему тоже стало страшно. Он думал, что всегда учует беса в себе – ну будто булыжник вместо шáньги проглотил. А вот ведь девка – смущалась, заигрывала, а и не ведала, зачем её тятенька с маменькой на Весёлые горы повезли...

– Это чья девка-то была? – спросил Осташа.

– Лаврентея Баташова с Кына младшая дочка... Мамка забоялась, чего это она в каплице всякий раз в обморок падает... А другая – дочь Ипата Терентьева...

– Кого?.. – тупо переспросил Осташа.

– Ипата Терентьева, хитника скитского, – повторил Корнила.

В это время к Калинику, который всё ещё сжимал в руке кропило, подошли старец Гермон и Калистрат.

– Надо тебя, отче, и к нам в Ревду позвать, – уважительно сказал Калистрат.

У Калиника, стоявшего с растрёпанными волосами и задравшимися как после битвы рукавами, вдруг дрогнула рука с кропилом, словно старец хотел замахнуться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.